ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ

Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени, по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове.

Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре; там родились, воспитались и состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, кроме: «примите уверение в совершенном моем почтении и преданности».

Упразднили регистратуру за ненадобностью и выпустили генералов на волю. Оставшись за штатом, поселились они в Петербурге, в Подьяческой улице, на разных квартирах; имели каждый свою кухарку и получали пенсию. Только вдруг очутились на необитаемом острове, проснулись и видят: оба под одним одеялом лежат. Разумеется, сначала ничего не поняли и стали разговаривать, как будто ничего с ними и не случилось.

— Странный, ваше превосходительство, мне нынче сон снился,— сказал один генерал: — вижу, будто живу я на необитаемом острове...

Сказал это, да вдруг как вскочит! Вскочил и другой генерал.

— Господи! Да что же это такое! Где мы!—вскрикнули оба не своим голосом.

И стали друг друга ощупывать, точно ли не во сне, а наяву с ними случилась такая оказия. Однако, как ни старались уверить себя, что всё это не больше, как сновидение, пришлось убедиться в печальной действительности.

Перед ними с одной стороны расстилалось море, с другой стороны лежал небольшой клочок земли, за которым стлалось всё то же безграничное море. Заплакали генералы в первый раз после того, как закрыли регистратуру. Стали они друг друга рассматривать и увидели, что они в ночных рубашках, а на шеях у них висит по ордену.

— Теперь бы кофейку испить хорошо! — молвил один генерал, но вспомнил, какая с ним неслыханная штука случилась, и во второй раз заплакал.

— Что же мы будем, однако, делать? — продолжал он сквозь слезы: — ежели теперича доклад написать — какая польза из этого выйдет?

— Вот что,— отвечал другой генерал: — подите вы, ваше превосходительство, на восток, а я пойду на запад, а к вечеру опять на этом месте сойдемся; может быть, что-нибудь и найдем.

Стали искать, где восток и где запад. Вспомнили, как начальник однажды говорил: если хочешь сыскать восток, то встань глазами на север, и в правой руке получишь искомое. Начали искать севера, становились так и сяк, перепробовали все страны света, но так как всю жизнь служили в регистратуре, то ничего не нашли.

— Вот что, ваше превосходительство; вы пойдите направо, а я налево; этак-то лучше будет! — сказал один генерал, который, кроме регистратуры, служил еще в школе военных кантонистов[1] учителем каллиграфии[2] и, следовательно, был поумнее.

Сказано — сделано. Пошел один генерал направо и видит — растут деревья, а на деревьях всякие плоды. Хочет генерал достать хоть одно яблоко, да все так высоко висят, что надобно лезть. Попробовал полезть — ничего не вышло, только рубашку изорвал. Пришел генерал к ручью, видит: рыба там, словно в садке на Фонтанке, так и кишит, и кишит.

«Вот кабы этакой-то рыбки да на Подьяческую!» — подумал генерал и даже в лице изменился от аппетита.

Зашел генерал в лес — а там рябчики свищут, тетерева токуют, зайцы бегают.

— Господи! Еды-то! еды-то! — сказал генерал, почувствовав, что его уже начинает тошнить.

Делать нечего, пришлось возвращаться на условленное место с пустыми руками. Приходит, а другой генерал уж дожидается.

— Ну, что, ваше превосходительство, промыслили что-нибудь?

— Да вот нашел старый нумер «Московских Ведомостей»[3], и больше ничего!

Легли опять спать генералы, да не спится им натощак. То беспокоит их мысль, кто за них будет пенсию получать, то припоминаются виденные днем плоды, рыбы, рябчики, тетерева, зайцы.

— Кто бы мог думать, ваше превосходительство, что человеческая пища, в первоначальном виде, летает, плавает и на деревьях растет? — сказал один генерал.

— Да,— отвечал другой генерал: — признаться, и я до сих пор думал, что булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею подают.

— Стало быть, если, например, кто хочет куропатку съесть, то должен сначала ее изловить, убить, ощипать, изжарить... Только как всё это сделать?

— Как всё это сделать? — словно эхо, повторил другой генерал.

---

[1] Школа военных кантонистов — низшая военная школа для солдатских детей.

[2] Каллиграфия — искусство чистописания.

[3] «Московские Ведомости» — реакционная газета. В дальнейшем тексте сказки Щедрин издевается над ее бессодержательностью и казенной восторженностью.

Замолчали и стали стараться заснуть; но голод решительно отгонял сон. Рябчики, индейки, поросята так и мелькали перед глазами, сочные, слегка подрумяненные, с огурцами, пикулями и другим салатом.

— Теперь я бы, кажется, свой собственный сапог съел! — сказал один генерал.

— Хороши тоже перчатки бывают, когда долго ношены! — вздохнул другой генерал.

Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, зубы стучали, из груди вылетало глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу и в одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и немедленно проглотил. Но вид текущей крови как будто образумил их.

— С нами крестная сила! — сказали они оба разом: — ведь этак мы друг друга съедим!

— И как мы попали сюда! кто тот злодей, который над нами такую штуку сыграл!

— Надо, ваше превосходительство, каким-нибудь разговором развлечься, а то у нас тут убийство будет! — проговорил один генерал.

— Начинайте! — отвечал другой генерал.

— Ка́к, например, думаете вы, отчего солнце прежде восходит, а потом заходит, а не наоборот?

— Странный вы человек, ваше превосходительство; но ведь и вы прежде встаете, идете в департамент, там пишете, а потом ложитесь спать?

— Но отчего же не допустить такую перестановку: сперва ложусь спать, вижу различные сновидения, а потом встаю?

— Гм... да... А я, признаться, как служил в департаменте, всегда та́к думал: вот теперь утро, а потом будет день, а потом подадут ужинать и спать пора!

Но упоминовение об ужине обоих повергло в уныние и пресекло разговор в самом начале.

— Слышал я от одного доктора, что человек может долгое время своими собственными соками питаться,— начал опять один генерал.

— Как так?

— Да так-с. Собственные свои соки будто бы производят другие соки, эти в свою очередь еще производят соки, и так далее, покуда, наконец, соки совсем не прекратятся...

— Тогда что ж?

Тогда надобно пищу какую-нибудь принять...

— Тьфу!

Одним словом, о чем ни начинали генералы разговор, он постоянно сводился на воспоминание об еде, и это еще более раздражало аппетит. Положили: разговоры прекратить, и, вспомнив

о найденном нумере «Московских Ведомостей», жадно принялись читать его.

«Вчера,— читал взволнованным голосом один генерал,— у почтенного начальника нашей древней столицы был парадный обед. Стол сервирован был на сто персон с роскошью изумительною. Дары всех стран назначили себе как бы рандезу [1] на этом волшебном празднике. Тут была и «шекснинска стерлядь золотая» [2], и питомец лесов кавказских, фазан, и, столь редкая в нашем севере в феврале месяце, земляника...»

— Тьфу ты, господи! да неужто ж, ваше превосходительство, не можете найти другого предмета? — воскликнул в отчаянии другой генерал и, взяв у товарища газету, прочел следующее:

«Из Тулы пишут: вчерашнего числа, по случаю поимки в реке Упе осетра (происшествие, которого не запомнят даже старожилы, тем более, что в осетре был опознан частный пристав [3] Б.), был в здешнем клубе фестиваль [4]. Виновника торжества внесли на громадном деревянном блюде, обложенного огурчиками и держащего в пасти кусок зелени. Доктор П., бывший в тот же день дежурным старшиною, заботливо наблюдал, дабы все гости получили по куску. Подливка была самая разнообразная и даже почти прихотливая...»

— Позвольте, ваше превосходительство, и вы, кажется, не слишком осторожны в выборе чтения! — прервал первый генерал и, взяв в свою очередь газету, прочел:

«Из Вятки пишут: один из здешних старожилов изобрел следующий оригинальный способ приготовления ухи: взяв живого налима, предварительно его высечь; когда же, от огорчения, печень его увеличится...»

Генералы поникли головами. Всё, на что бы они ни обратили взоры,— всё свидетельствовало об еде. Собственные их мысли злоумышляли против них, ибо как они ни старались отгонять представления о бифштексах, но представления эти пробивали себе путь насильственным образом.

И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, озарило вдохновение...

— А что, ваше превосходительство,— сказал он радостно: — если бы нам найти мужика?

— То есть как же... мужика?

— Ну, да, простого мужика... какие обыкновенно бывают мужики! Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы!

— Гм... мужика... но где же его взять, этого мужика, когда его нет?

---

[1] Рандеву — свидание (франц.).

[2] «Шекснинска стерлядь золотая» — цитата из стихотворения Державина «Приглашение к обеду».

[3] Частный пристав — начальник полицейского участка в городе.

[4] Фестиваль — здесь в значении: «пиршество».

— Как нет мужика — мужик везде есть, стоит только поискать его! Наверное, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает!

Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили как встрепанные и пустились отыскивать мужика.

Долго они бродили по острову без всякого успеха, но, наконец, острый запах мякинного хлеба и кислой овчины навел их на след. Под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужчина и самым нахальным образом уклонялся от работы. Негодованию генералов предела не было.

— Спишь, лежебок,— накинулись они на него: — небось, и ухом не ведешь, что тут два генерала вторые сутки с голода умирают! сейчас марш работать!

Встал мужчина: видит, что генералы строгие. Хотел было дать от них стречка, но они так и закоченели, вцепившись в него.

И зачал он перед ними действовать.

Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а себе взял одно, кислое. Потом покопался в земле — и добыл оттуда картофелю; потом взял два куска дерева, потер их друг об дружку — и извлек огонь. Потом из собственных волос сделал силок и поймал рябчика. Наконец, развел огонь и напек столько разной провизии, что генералам пришло даже на мысль: не дать ли и тунеядцу частичку?

Смотрели генералы на эти мужицкие старания, и сердца у них весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть не умерли с голоду, а думали: вот как оно хорошо быть генералами — нигде не пропадешь!

— Довольны ли вы, господа генералы? — спрашивал между тем мужчина-лежебок.

— Довольны, любезный друг, видим твое усердие! — отвечали генералы.

— Не позволите ли теперь отдохнуть?

— Отдохни, дружок, только свей прежде веревочку.

Набрал сейчас мужчина дикой конопли, размочил в воде, поколотил, помял — и к вечеру веревка была готова. Этою веревкою генералы привязали мужичину к дереву, чтоб не убег, а сами легли спать.

Прошел день, прошел другой; мужичина до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить. Сделались наши генералы веселые, рыхлые, сытые, белые. Стали говорить, что вот они здесь на всем готовом живут, а в Петербурге, между тем, пенсии их ние всё накапливаются да накапливаются.

— А как вы думаете, ваше превосходительство, в самом ли деле было вавилонское столпотворение [1], или это только так,

---

[1] **Вавилонское столпотворение.** По библейской легенде, жители древнего Вавилона пытались построить столб (башню) высотой до неба; в наказанье за дерзкую попытку бог «смешал» их языки — и строители перестали понимать друг друга.

одно иносказание? — говорит, бывало, один генерал другому, позавтракавши.

— Думаю, ваше превосходительство, что было в самом деле, потому что иначе как же объяснить, что на свете существуют разные языки!

— Стало быть, и потоп был?

— И потоп был, потому что, в противном случае, как же было бы объяснить существование допотопных зверей? Тем более, что в «Московских Ведомостях» повествуют...

— А не почитать ли нам «Московских Ведомостей»?

Сыщут нумер, усядутся под тенью, прочтут от доски до доски, как ели в Москве, ели в Туле, ели в Пензе, ели в Рязани — и ничего, не тошнит!

*

Долго ли, коротко ли, однако генералы соскучились. Чаще и чаще стали они припоминать об оставленных ими в Петербурге кухарках и втихомолку даже поплакивали.

— Что́-то теперь делается в Подьяческой, ваше превосходительство? — спрашивал один генерал другого.

— И не говорите, ваше превосходительство! Всё сердце изныло! — отвечал другой генерал.

— Хорошо-то оно хорошо здесь — слова нет! а всё, знаете, как-то неловко барашку без ярочки! да и мундира тоже жалко!

— Еще как жалко-то! Особливо, как четвертого класса, так на одно шитье посмотреть, голова закружится [1].

И начали они нудить мужика: представь да представь их в Подьяческую! И что ж! оказалось, что мужик знает даже Подьяческую, что он там был, мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попало!

— А ведь мы с Подьяческой генералы! — обрадовались генералы.

— А я, коли видели: висит человек снаружи дома, в ящике на веревке, и стену краской мажет, или по крыше словно муха ходит — это он самый я и есть! — отвечал мужик.

И начал мужик на бобах разводить, как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужицким его трудом не гнушалися! И выстроил он корабль — не корабль, а такую посудину, чтоб можно было океан-море переплыть вплоть до самой Подьяческой.

— Ты смотри, однако, каналья, не утопи нас! — сказали генералы, увидев покачивавшуюся на волнах ладью.

— Будьте покойны, господа генералы, не впервой! — отвечал мужик и стал готовиться к отъезду.

---

[1] Чины делились на 14 классов; высшим был 1-й класс. Чин 4-го класса в гражданской службе — действительный статский советник, в военной — генерал-майор. Мундиры чиновников первых классов были украшены золотым шитьем.

Набрал мужик пуху лебяжьего мягкого и устлал им дно лодочки. Устлавши, уложил на дно генералов и, перекрестившись, поплыл. Сколько набрались страху генералы во время пути от бурь да от ветров разных, сколько они ругали мужичину за его тунеядство — это ни пером описать, ни в сказке сказать. А мужик всё гребет да гребет, да кормит генералов селедками.

Вот, наконец, и Нева-матушка, вот и Екатерининский славный канал, и вот Большая Подьяческая! Всплеснули кухарки руками, увидевши, какие у них генералы стали сытые, белые да веселые! Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли — того ни в сказке сказать, ни пером описать!

Однако и об мужике не забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!

ДИКИЙ ПОМЕЩИК

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик, жил и, на свет глядючи, радовался. Всего у него было довольно: и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И был тот помещик глупый, читал газету «Весть» [1] и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое.

Только и взмолился однажды богу этот помещик:

— Господи! всем я от тебя доволен, всем награжден! Одно только сердцу моему непереносно: очень уж много развелось в нашем царстве мужика!

Но бог знал, что помещик тот глупый, и прошению его не внял.

Видит помещик, что мужика с каждым днем не убывает, а всё прибывает,— видит и опасается: а ну, как он у меня всё добро приест?

Заглянет помещик в газету «Весть», кáк в сем случае поступать должно, и прочитает: старайся!

— Одно только слово написано,— молвит глупый помещик: — а золотое это слово!

И начал он стараться, и не то, чтоб как-нибудь, а всё по правилу. Курица ли крестьянская в господские овсы забредет — сейчас ее, по правилу, в суп; дровец ли крестьянин нарубить, по секрету, в господском лесу соберется — сейчас эти самые дрова на господский двор, а с порубщика, по правилу, штраф.

— Больше я нынче этими штрафами на них действую! — говорит помещик соседям своим: — потому что для них это понятнее.

---

[1] «Весть» — газета реакционных помещиков.

Видят мужики: хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил он их так, что некуда носа высунуть: куда ни глянут — всё нельзя, да не позволено, да не ваше! Скотинка на водопой выйдет — помещик кричит: моя вода! курица за околицу выбредет — помещик кричит: моя земля! И земля, и вода, и воздух — всё его стало! Лучины не стало мужику в светец [1] зажечь, прута не стало, чем избу вымести. Вот и взмолились крестьяне всем миром к господу богу:

— Господи! легче нам пропа́сть и с детьми малыми, нежели всю жизнь так маяться!

Услышал милостивый бог слезную молитву сиротскую, и не стало мужика на всем пространстве владений глупого помещика. Куда девался мужик — никто того не заметил, а только видели люди, как вдруг поднялся мякинный вихрь и, словно туча черная, пронеслись в воздухе посконные мужицкие портки. Вышел помещик на балкон, потянул носом и чует: чистый-пречистый во всех его владениях воздух сделался. Натурально, остался доволен. Думает: теперь-то я понежу свое тело белое, тело белое, рыхлое, рассыпчатое!

И начал он жить да поживать, и стал думать, чем бы ему свою душу утешить.

«Заведу,— думает,— театр у себя! напишу к актеру Садовскому [2]: приезжай, мол, любезный друг! и актерок с собой привози!»

Послушался его актер Садовский; сам приехал и актерок привез. Только видит, что в доме у помещика пусто, и ставить театр и занавес поднимать не́кому.

— Куда же ты крестьян своих девал? — спрашивает Садовский у помещика.

— А вот бог, по молитве моей, все мои владения от мужика очистил!

— Однако, брат, глупый ты помещик! кто же тебе, глупому, умываться подает?

— Да я уж и то сколько дней немытый хожу!

— Стало быть, шампиньоны [3] на лице ростить собрался? — сказал Садовский и с этим словом и сам уехал, и актерок увез.

Вспомнил помещик, что есть у него поблизости четыре генерала знакомых; думает: что это я всё гран-пасьянс да гран-пасьянс раскладываю! Попробую-ко я с генералами впятером пульку-другую [4] сыграть!

---

[1] Светец — подставка для лучины, освещающей избу.

[2] Садовский П. М. (1818—1872) — знаменитый русский актер.

[3] Шампиньоны — вид съедобных грибов; их очень ценили и не только собирали, но и разводили на продажу в искусственных условиях.

[4] Пасьянс или гран-пасьянс — занятие, состоящее в раскладывании игральных карт по известным правилам; пулька — партия в карточной игре.

Сказано — сделано; написал приглашения, назначил день и отправил письма по адресу. Генералы были хоть и настоящие, но голодные, а потому очень скоро приехали. Приехали — и не могут надивиться, отчего такой у помещика чистый воздух стал.

— А оттого это,— хвастается помещик: — что бог, по молитве моей, все владения мои от мужиков очистил!

— Ах, как это хорошо! — хвалят помещика генералы: — стало быть, теперь у вас этого холопьего запаху нисколько не будет?

— Нисколько,— отвечает помещик.

Сыграли пульку, сыграли другую; чувствуют генералы, что пришел их час водку пить, приходят в беспокойство, озираются.

— Должно быть, вам, господа генералы, закусить захотелось? — спрашивает помещик.

— Не худо бы, господин помещик!

Встал он из-за стола, подошел к шкапу и вынимает оттуда по леденцу да по печатному прянику [1] на каждого человека.

— Что́ ж это такое? — спрашивают генералы, вытаращив на него глаза.

— А вот, закусите, чем бог послал!

— Да нам бы говядинки! Говядинки бы нам!

— Ну, говядинки у меня про вас нет, господа генералы, потому что с тех пор, как меня бог от мужика избавил, и печка на кухне стоит нетопленая!

Рассердились на него генералы, так что даже зубы у них застучали.

— Да ведь жрешь же ты что-нибудь сам-то? — накинулись они на него.

— Сырьем кой-каким питаюсь, да вот пряники еще покуда есть...

— Однако, брат, глупый же ты помещик! — сказали генералы и, не докончив пульки, разбрелись по домам.

Видит помещик, что его уж в другой раз дураком чествуют, и хотел было уж задуматься, но так как в это время на глаза попалась колода карт, то махнул на всё рукою и начал раскладывать гран-пасьянс.

— Посмотрим,— говорит,— господа либералы, кто кого одолеет! Докажу я вам, что́ может сделать истинная твердость души!

Раскладывает он «дамский каприз» [2] и думает: ежели сряду три раза выйдет, стало быть, надо не взирать. И как назло, сколько раз ни разложит — всё у него выходит, всё выходит! Не осталось в нем даже сомнения никакого.

---

[1] Печатный пряник — пряник с выдавленными рисунками.
[2] «Дамский каприз» — вид пасьянса.

— Уж если,— говорит,— сама фортуна указывает, стало быть, надо оставаться твердым до конца. А теперь покуда довольно гран-пасьянс раскладывать, пойду позаймусь!

И вот ходит он, ходит по комнатам, потом сядет и посидит. И всё думает. Думает, какие он машины из Англии выпишет, чтоб всё па̀ром да па́ром, а холопского духу чтоб нисколько не было. Думает, какой он плодовитый сад разведет: вот тут будут груши, сливы; вот тут — персики, тут — грецкий орех! Посмотрит в окошко — ан там всё, как он задумал, всё точно так уж и есть! Ломятся, по щучьему велению, под грузом плодов деревья грушевые, персиковые, абрикосовые, а он только знай фрукты машинами собирает да в рот кладет! Думает, каких он коров разведет, что ни кожи, ни мяса, а всё одно молоко, всё молоко! Думает, какой он клубники насадит, всё двойной да тройной, по пяти ягод на фунт, и сколько он этой клубники в Москве продаст. Наконец, устанет думать, пойдет к зеркалу посмотреться — ан там уж пыли на вершок насело...

— Сенька! — крикнет он вдруг, забывшись, но потом спохватится и скажет: — ну, пускай себе до поры, до времени так постоит! а уж докажу же я этим либералам, что́ может сделать твердость души!

Промаячит таким манером, покуда стемнеет,— и спать!

А во сне сны еще веселее, нежели наяву, снятся. Снится ему, что сам губернатор о такой его помещичьей непреклонности узнал и спрашивает у исправника [1]: «Какой-такой твердый курицын сын у вас в уезде завелся?» Потом снится, что его за эту самую непреклонность министром сделали, и ходит он в лентах, и пишет циркуляры: быть твердым и не взирать! Потом снится, что он ходит по берегам Евфрата и Тигра... [2]

— Ева, мой друг! — говорит он.

Но вот и сны все пересмотрел: надо вставать.

— Сенька! — опять кричит он, забывшись, но вдруг вспомнит... и поникнет головою.

— Чем бы, однако, заняться? — спрашивает он себя: — хоть бы лешего какого-нибудь нелегкая занесла!

И вот по этому его слову вдруг приезжает сам капитан-исправник. Обрадовался ему глупый помещик несказанно; побежал в шкап, вынул два печатных пряника и думает: ну, этот, кажется, останется доволен!

— Скажите, пожалуйста, господин помещик, каким это чудом все ваши временнообязанные [3] вдруг исчезли? — спрашивает исправник.

---

[1] Исправник — начальник уездной полиции.

[2] Евфрат и Тигр — реки в Малой Азии, между которыми, по библейской легенде, находился рай. В мечтах дикий помещик видит себя Адамом в раю.

[3] Временнообязанные — крестьяне, уже «освобожденные», но еще обязанные работать на помещика до заключения с ним соглашения о выкупе земли.

— А вот так и так, бог, по молитве моей, все владения мои от мужика совершенно очистил.

— Так-с; а не известно ли вам, господин помещик, кто подати за них платить будет?

— Подати?.. это они! это они сами! это их священнейший долг и обязанность!

— Так-с; а каким манером эту подать с них взыскать можно, коли они, по вашей молитве, по лицу земли рассеяны?

— Уж это... не знаю... я, с своей стороны, платить не согласен!

— А известно ли вам, господин помещик, что казначейство без податей и повинностей, а тем паче без винной и соляной регалий[1] существовать не может?

— Я что ж... я готов! рюмку водки... я заплачу!

— Да вы знаете ли, что, по милости вашей, у нас на базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя? знаете ли вы, чем это пахнет?

— Помилуйте! я, с своей стороны, готов пожертвовать! вот целых два пряника!

— Глупый же вы, господин помещик! — молвил исправник, повернулся и уехал, не взглянув даже на печатные пряники.

Задумался на этот раз помещик не на шутку. Вот уж третий человек его дураком чествует, третий человек посмотрит-посмотрит на него, плюнет и отойдет. Неужто он в самом деле дурак? неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей, в переводе на обыкновенный язык означает только глупость и безумие? и неужто, вследствие одной его непреклонности, остановились и подати, и регалии, и не стало возможности достать на базаре ни фунта муки, ни куска мяса?

И как был он помещик глупый, то сначала даже фыркнул от удовольствия при мысли, какую он штуку сыграл, но потом вспомнил слова исправника: «а знаете ли, чем это пахнет?» и струсил не на шутку.

Стал он, по обыкновенью, ходить взад да вперед по комнатам и всё думает: чем же это пахнет? уж не пахнет ли водворением каким? например, Чебоксарами? или, быть может, Варнавиным?[2]

— Хоть бы в Чебоксары, что ли! по крайней мере, убедился бы мир, что значит твердость души! — говорит помещик, а сам по секрету от себя уж думает: в Чебоксарах-то, я может быть, мужика бы моего милого увидал! Походит помещик, и посидит, и опять походит. К чему ни подойдет, всё, кажется, так и говорит: а глупый ты, господин помещик! Видит он, бежит через комнату

---

[1] Винная и соляная регалии — исключительное право государства продавать водку и соль.

[2] Водворение — здесь в смысле ссылки. Чебоксары и Варнавин — маленькие, глухие уездные города.

мышонок и крадется к картам, которыми он гран-пасьянс делал и достаточно уже замаслил, чтоб возбудить ими мышиный аппетит.

— Кшш...— бросился он на мышонка.

Но мышонок был умный и понимал, что помещик без Сеньки никакого вреда ему сделать не может. Он только хвостом вильнул в ответ на грозное восклицание помещика и через мгновение уже выглядывал на него из-под дивана, как будто говоря: погоди, глупый помещик! то ли еще будет! я не только карты, а и халат твой съем, как ты его позамаслишь как следует!

Много ли, мало ли времени прошло, только видит помещик, что в саду у него дорожки репейником поросли, в кустах змеи да гады всякие кишмя-кишат, а в парке звери дикие воют. Однажды к самой усадьбе подошел медведь, сел на корточках, поглядывает в окошки на помещика и облизывается.

— Сенька! — вскрикнул помещик, но вдруг спохватился...

Однако твердость души всё еще не покидала его. Несколько раз он ослабевал, но как только почувствует, что сердце у него начнет растворяться, сейчас бросится к газете «Весть» и в одну минуту ожесточится опять.

— Нет, лучше совсем одичаю, лучше пусть буду с дикими зверьми по лесам скитаться, но да не скажет никто, что российский дворянин князь Урус-Кучум-Кильдибаев от принципов отступил!

И вот он одичал. Хоть в это время наступила уже осень и морозцы стояли порядочные, но он не чувствовал даже холода. Весь он, с головы до ног, оброс волосами, словно древний Исав, а ногти у него сделались как железные. Сморкаться уже он давно перестал, ходил же всё больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить членораздельно звуки и усвоил себе какой-то особенный победный клик, среднее между свистом, шипением и рявканьем. Но хвоста еще не приобрел.

Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил свое тело рыхлое, белое, рассыпчатое, как кошка, в один миг, взлезет на самую вершину дерева и стережет оттуда. Прибежит это заяц, встанет на задние лапки и прислушивается, нет ли откуда опасности,— а он уж тут как тут. Словно стрела соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвет ее ногтями, да так со всеми внутренностями, даже со шкурой, и съест.

И сделался он силен ужасно, до того силен, что даже счел себя вправе войти в дружеские сношения с тем самым медведем, который некогда посматривал на него в окошко.

— Хочешь, Михайло Иваныч, походы вместе на зайцев будем делать? — сказал он медведю.

— Хотеть — отчего не хотеть! — отвечал медведь: — только, брат, ты напрасно мужика этого уничтожил.

— А почему так?

— А потому, что мужика этого есть не в пример способнее было, нежели вашего брата дворянина. И потому скажу тебе прямо: глупый ты помещик, хоть мне и друг!

Между тем, капитан-исправник хотя и покровительствовал помещикам, но ввиду такого факта, как исчезновение с лица земли мужика, смолчать не посмел. Встревожилось его донесением и губернское начальство, пишет к нему: а как вы думаете, кто теперь подати будет вносить? кто будет вино по кабакам пить? кто будет невинными занятиями заниматься? Отвечает капитан-исправник: казначейство-де теперь упразднить следует, а невинные-де занятия и сами собой упразднились, вместо же них распространились в уезде грабежи, разбой и убийства. На днях де и его, исправника, какой-то медведь не медведь, человек не человек едва не задрал, в каковом человеко-медведе и подозревает он того самого глупого помещика, который всей смуте зачинщик.

Обеспокоились начальники и собрали совет. Решили: мужика изловить и водворить, а глупому помещику, который всей смуте зачинщик, наиделикатнейше внушить, дабы он фанфаронства[1] свои прекратил и поступлению в казначейство податей препятствия не чинил.

Как нарочно, в это время через губернский город летел отроившийся рой мужиков и осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плетушку и послали в уезд.

И вдруг опять запахло в том уезде мякиной и овчинами; но в то же время на базаре появились и мука, и мясо, и живность всякая, а податей в один день поступило столько, что казначей, увидав такую груду денег, только всплеснул руками от удивления и вскрикнул:

— И откуда вы, шельмы, берете!!

Что же сделалось, однако, с помещиком? — спросят меня читатели. На это я могу сказать, что хотя и с большим трудом, но и его изловили. Изловивши, сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету «Весть» и, поручив его надзору Сеньки, уехал.

Он жив и доныне. Раскладывает гран-пасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит.

---

[1] **Фанфаронство** — чванство, хвастовство.

ПРЕМУДРЫЙ ПЕСКАРЬ

Жил-был пескарь. И отец, и мать у него были умные; помаленьку да полегоньку аридовы веки[1] в реке прожили, и ни в уху, ни к щуке в хайло̀ не попали. И сыну то же заказали. «Смотри, сынок,— говорил старый пескарь, умирая:— коли хочешь жизнью жуировать[2], так гляди в оба!»

А у молодого пескаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит: куда ни обернется — везде ему мат. Кругом, в воде, всё большие рыбы плавают, а он всех меньше; всякая рыба его заглотать может, а он никого заглотать не может. Да и не понимает: зачем глотать? Рак может его клешней пополам перерезать, водяная блоха — в хребет впиться и до смерти замучить. Даже свой брат пескарь — и тот, как увидит, что он комара изловил, целым стадом так и бросятся отнимать. Отнимут и начнут друг с дружкой драться, только комара задаром растреплют.

А человек? — что̀ это за ехидное создание такое! каких каверз он ни выдумал, чтоб его, пескаря, напрасною смертью погублять! И невода́, и сети, и ве́рши и норота̀, и, наконец... уду! Кажется, что́ может быть глупее уды? — Нитка, на нитке крючок, на крючке — червяк или муха надеты... Да и надеты-то как?.. в самом, можно сказать, неестественном положении! А между тем, именно на уду всего больше пескарь и ловится!

Отец-старик не раз его насчет уды предостерегал. «Пуще всего берегись уды! — говорил он: — потому что хоть и глупейший это снаряд, да ведь с нами, пескарями, что́ глупее, то вернее. Бросят нам муху, словно нас же приголубить хотят; ты в нее вцепишься — ан в мухе-то смерть!»

Рассказывал также старик, как однажды он чуть-чуть в уху не угодил. Ловили их в ту пору целою артелью, во всю ширину реки невод растянули, да так версты с две по дну волоком и волокли. Страсть, сколько рыбы тогда попалось! И щуки, и окуни, и головли, и плотва, и гольцы,— даже лещей-лежебоков из тины со дна поднимали! А пескарям так и счет потеряли. И каких страхов он, старый пескарь, натерпелся, покуда его по реке волокли,— это ни в сказке сказать, ни пером описать. Чувствует, что его везут, а куда — не знает. Видит, что у него с одного боку — щука, с другого — окунь; думает: вот-вот, сейчас, или та, или другой его съедят, а они — не трогают... «В ту пору не до еды, брат, было!» У всех одно на уме: смерть пришла! а как и почему она пришла — никто не понимает. Наконец, стали крылья у невода сводить, выволокли его на берег и начали рыбу из мотни[3] в траву валить. Тут-то он и узнал, что́ такое уха. Трепещется на песке

[1] Аридовы веки — долгие годы. По имени легендарного библейского патриарха Арида, прожившего будто бы 962 года.

[2] Жуировать — проводить время в удовольствиях, искать в жизни одних наслаждений.

[3] Мотня — часть невода, в которую попадает рыба.

что-то красное; серые облака от него вверх бегут; а жарко таково́, что он сразу разомлел. И без того без воды тошно, а тут еще поддают... Слышит — «костер», говорят. А на «костре» на этом черное что-то положено, и в нем вода, точно в озере, во время бури, ходуном ходит. Это — «котел», говорят. А под конец стали говорить: вали в «котел» рыбу — будет «уха»! И начали туда нашего брата валить. Шваркнет рыбак рыбину — та сначала окунется, потом, как полоумная, выскочит, потом опять окунется — и присмиреет. «Ухи», значит, отведала. Валили-валили сначала без разбора, а потом один старичок глянул на него и говорит: какой от него, от малыша, прок для ухи! пущай в реке порастет! Взял его под жабры, да и пустил в вольную воду. А он, не будь глуп, во все лопатки — домой! Прибежал, а пескариха его из норы ни жива, ни мертва выглядывает...

И что́ же! сколько ни толковал старик в ту пору, что такое уха и в чем она заключается, однако и поднесь в реке редко кто здравые понятия об ухе имеет!

Но он, пескарь-сын, отлично запомнил поучения пескаря-отца, да и на ус себе намотал. «Надо глядеть в оба,— сказал он себе: — а не то как раз пропадешь!» — и стал жить да поживать. Первым делом, нору для себя такую придумал, чтоб ему забраться в нее было можно, а никому другому — не влезть! Долбил он носом эту нору целый год, и сколько страху в это время принял, ночуя то в иле, то под водяным лопухом, то в осоке. Наконец, однако, выдолбил на славу. Чисто, аккуратно — именно только одному поместиться впору. Вторым делом, насчет житья своего решил так: ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят — он будет моцион делать, а днем — станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить-есть всё-таки нужно, а жалованья он не получает и прислуги не держит, то будет он выбегать из норы около полден, когда вся рыба уж сыта, и, бог даст, может быть, козявку-другую и промыслит. А ежели не промыслит, так и голодный в норе заляжет, и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни лишиться.

Так он и поступал. Ночью моцион делал, в лунном свете купался, а днем забирался в нору и дрожал. Только в полдни выбежит кой-чего похватать — да что́ в полдень промыслишь! В это время и комар под лист от жары прячется, и букашка под кору хоронится. Поглотает воды — и шабаш!

Лежит он день-деньской в норе, ночей не досыпает, куска не доедает, и всё-то думает: кажется, что я жив? ах, что-то завтра будет?

Задремлет, грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет и он на него двести тысяч выиграл. Не помня себя от восторга, перевернется на другой бок — глядь, ан у него целых полрыла из норы высунулось... Что́, если б в это время щуренок поблизости был! ведь он бы его из норы-то вытащил!

Однажды проснулся он и видит: прямо против его норы стоит рак. Стоит неподвижно, словно околдованный, вытаращив на него костяные глаза. Только усы по течению воды пошевеливаются. Вот когда он страху набрался! И целых полдня, покуда совсем не стемнело, этот рак его поджидал, а он тем временем всё дрожал, всё дрожал.

В другой раз, только что успел он перед зорькой в нору воротиться, только что сладко зевнул, в предвкушении сна,— глядит, откуда ни возьмись, у самой норы щука стоит и зубами хлопает. И тоже целый день его стерегла, словно видом его одним сыта была. А он и щуку надул: не вышел из норы, да и шабаш.

И не раз, и не два это с ним случалось, а почесть что каждый день. И каждый день он, дрожа, победы и одоления одерживал, каждый день восклицал: слава тебе, господи! жив!

Но этого мало: он не женился и детей не имел, хотя у отца его была большая семья. Он рассуждал так: отцу шутя можно было прожить! В то время и щуки были добрее, и окуни на нас, мелюзгу, не зарились. А хотя однажды он и попал было в уху, так и тут нашелся старичок, который его вызволил! А нынче, как рыба-то в реках повывелась, и пескари в честь попали. Так уж тут не до семьи, а как бы только самому прожить!

И прожил премудрый пескарь таким родом слишком сто лет. Всё дрожал, всё дрожал. Ни друзей у него, ни родных; ни он к кому, ни к нему кто. В карты не играет, вина не пьет, табаку не курит, за красными девушками не гоняется — только дрожит да одну думу думает: слава богу! кажется, жив!

Даже щуки, под конец, и те стали его хвалить: вот, кабы все так жили — то-то бы в реке тихо было! Да только они это нарочно говорили; думали, что он на похвалу-то отрекомендуется — вот, мол, я! — тут его и хлоп! Но он и на эту штуку не поддался, а еще раз своею мудростью козни врагов победил.

Сколько прошло годов после ста лет — неизвестно, только стал премудрый пескарь помирать. Лежит в норе и думает: слава богу, я своею смертью помираю, так же, как умерли мать и отец. И вспомнились ему тут щучьи слова: вот, кабы все так жили, как этот премудрый пескарь живет... А ну-тка, в самом деле, что бы тогда было?

Стал он раскидывать умом, которого у него была палата, и вдруг ему словно кто шепнул: ведь этак, пожалуй, весь пескарий род давно перевелся бы!

Потому что, для продолжения пескарьего рода, прежде всего нужна семья, а у него ее нет. Но этого мало: для того, чтоб пескарья семья укреплялась и процветала, чтоб члены ее были здоровы и бодры, нужно, чтоб они воспитывались в родной стихии, а не в норе, где он почти ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтоб пескари достаточное питание получали, чтоб не чуждались общественности, друг с другом хлеб-соль бы водили и друг от друга добродетелями и другими отличными качествами заимст-

вовались. Ибо только такая жизнь может совершенствовать пескарью породу и не дозволит ей измельчать и выродиться в снетка.

Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пескари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пескари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому ни честь, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия... живут, даром место занимают да корм едят.

Всё это представилось до того отчетливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла: вылезу-ка я из норы да гоголем по всей реке проплыву! Но едва он подумал об этом, как опять испугался. И начал, дрожа, помирать. Жил — дрожал, и умирал — дрожал.

Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости? кого он утешил? кому добрый совет подал? кому доброе слово сказал? кого приютил, обогрел, защитил? кто слышал об нем? кто об его существовании вспомнит?

И на все эти вопросы ему пришлось отвечать: никому, никто.

Он жил и дрожал — только и всего. Даже вот теперь: смерть у него на носу, а он всё дрожит, сам не знает, из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться негде; ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не пахнёт. И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, изможденный, никому не нужный, лежит и ждет: когда же, наконец, голодная смерть окончательно освободит его от бесполезного существования?

Слышно ему, как мимо его норы шмыгают другие рыбы,— может быть, как и он, пескари — и ни одна не поинтересуется им. Ни одной на мысль не придет: дай-ка, спрошу я у премудрого пескаря, каким он манером умудрился слишком сто лет прожить, и ни щука его не заглотала, ни рак клешней не перешиб, ни рыболов на уду не поймал? Плывут себе мимо, а может быть, и не знают, что вот в этой норе премудрый пескарь свой жизненный процесс завершает!

И что́ всего обиднее: не слыхать даже, чтоб кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят: слыхали вы про остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба-соли не водит, а всё только распостылую свою жизнь бережет? А многие даже просто дураком и срамцо́м его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит.

Раскидывал он таким образом своим умом и дремал. То есть, не то что дремал, а забываться уж стал. Раздались в его ушах предсмертные шепоты, разлилась по всему телу истома. И привиделся ему тут прежний соблазнительный сон. Выиграл будто бы он двести тысяч, вырос на целых пол-аршина и сам щук глотает.

А покуда ему это снилось, рыло его, помаленьку да полегоньку, целиком из норы и высунулось.

И вдруг он исчез. Что́ тут случилось — щука ли его заглотала, рак ли клешней перешиб, или сам он своею смертью умер и всплыл на поверхность — свидетелей этому делу не было. Скорее всего — сам умер, потому что какая сласть щуке глотать хворого, умирающего пескаря, да к тому же еще и *премудрого?*

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ЗАЯЦ

Однажды заяц перед волком провинился. Бежал он, видите ли, неподалеку от волчьего ло́гова, а волк увидел его и кричит: заинька! остановись, миленький! А заяц не только не остановился, а еще пуще ходу прибавил. Вот волк в три прыжка его поймал, да и говорит: за то, что ты с первого моего слова не остановился, вот тебе мое решение: приговариваю я тебя к лишению живота[1] посредством растерзания. А так как теперь и я сыт, и волчиха моя сыта, и запасу у нас еще дней на пять хватит, то сиди ты вот под этим кустом и жди очереди. А может быть... ха-ха... я тебя и помилую!

Сидит заяц на задних лапках под кустом и не шевельнется. Только об одном думает: через столько-то суток и часов смерть должна прийти. Глянет он в сторону, где находится волчье ло́гово, а оттуда на него светящееся волчье око смотрит. А в другой раз и еще того хуже: выйдут волк с волчихой и начнут по полянке мимо него погуливать. Посмотрят на него, и что-то волк волчихе по-волчьему скажет, и оба зальются: ха-ха! И волчата тут же за ними увяжутся; играючи, к нему подбегут, ласкаются, зубами стучат... А у него, у зайца, сердце так и закатится!

Никогда он так не любил жизни, как теперь. Был он заяц обстоятельный, высмотрел у вдовы, у зайчихи, дочку и жениться хотел. Именно к ней, к невесте своей, он и бежал в ту минуту, как волк его за шиворот ухватил. Ждет, чай, его теперь невеста, думает: изменил мне косой! А может быть, подождала-подождала, да и с другим... слюбилась... А может быть, и так: играла, бедняжка, в кустах, а тут ее волк... и слопал!..

Думает это бедняга и слезами так и захлебывается. Вот они, заячьи-то мечты! жениться рассчитывал, самовар купил, мечтал, как с молодой зайчихой будет чай-сахар пить, и вместо всего — куда угодил! А сколько, бишь, часов до смерти-то осталось?

И вот сидит он однажды ночью и дремлет. Снится ему, будто волк его при себе чиновником особых поручений сделал, а сам, покуда он по ревизиям бегает, к его зайчихе в гости ходит... Вдруг слышит, словно его кто-то под бок толкнул. Оглядывается — ан это невестин брат.

---

[1] *Лишение живота* (то есть жизни) — старинное название смертной казни.

— Невеста-то твоя помирает,— говорит.— Прослышала, какая над тобой беда стряслась, и в одночасье зачахла. Теперь только об одном и думает: неужто я так и помру, не простившись с ненаглядным моим!

Слушал эти слова осужденный, и сердце его на части разрывалося. За что? чем заслужил он свою горькую участь? Жил он открыто, революций не пущал, с оружием в руках не выходил, бежал по своей надобности — неужто ж за это смерть? Смерть! подумайте, слово-то ведь какое! И не ему одному смерть, а и ей, серенькой заиньке, которая тем только и виновата, что его, косого, всем сердцем полюбила! Та́к бы он к ней и полетел, взял бы ее, серенькую заиньку, передними лапками за ушки, и всё бы миловал да по головке бы гладил.

— Бежим! — говорил, между тем, посланец.

Услыхавши это слово, осужденный на минуту словно преобразился. Совсем уже в комок собрался и уши на спину заложил. Вот-вот прянет — и след простыл. Не следовало ему в эту минуту на волчье ло́гово смотреть, а он посмотрел. И закатилось заячье сердце.

— Не могу, говорит: — волк не велел.

А волк, между тем, всё видит и слышит, и потихоньку по-волчьи с волчихой перешептывается: должно быть, зайца за благородство хвалят.

— Бежим! — опять говорит посланец.

— Не могу! — повторяет осужденный.

— Что вы там шепчетесь, злоумышляете? — как гаркнет вдруг волк.

Оба зайца так и обмерли. Попался и посланец! Подговор часовых к побегу — что́, бишь, за это по правилам-то полагается? Ах, быть серой заиньке и без жениха, и без братца — обоих волк с волчихой слопают!

Опомнились косые — а перед ними и волк, и волчиха зубами стучат, а глаза у обоих в ночной темноте, словно фонари, так и светятся.

— Мы, ваше благородие, ничего... так, промежду себя... землячок проведать меня пришел! — лепечет осужденный, а сам так и мрет от страху.

— То-то «ничего»! знаю я вас! пальца вам тоже в рот не клади! Сказывайте, в чем дело?

— Так и так, ваше благородие,— вступился тут невестин брат: — сестрица моя, а его невеста, помирает, так просит, нельзя ли его проститься с нею отпустить?

— Гм... это хорошо, что невеста жениха любит,— говорит волчиха.— Это значит, что зайчат у них много будет, корму волкам прибавится. И мы с волком любимся, и у нас волчат много. Сколько по воле ходят, а четверо и теперь при нас живут. Волк, а волк! отпустить, что ли, жениха к невесте проститься?

— Да ведь его на послезавтра есть назначено...

— Я, ваше благородие, прибегу... я мигом оборочу .. у меня это... вот как бог свят прибегу! — заспешил осужденный, и чтобы волк не сомневался, что он *может* мигом оборотить, таким вдруг молодцом прикинулся, что сам волк на него залюбовался и подумал: вот, кабы у меня солдаты такие были!

А волчиха пригорюнилась и молвила:

— Вот, поди ж ты! заяц, а как свою зайчиху любит!

Делать нечего, согласился волк отпустить косого в побывку, но с тем, чтобы как раз к сроку оборотил. А невестина брата аманатом[1] у себя оставил.

— Коли не воротишься через двое суток к шести часам утра,— сказал он: — я его вместо тебя съем; а коли воротишься — обоих съем, а может быть... ха-ха... и помилую!

Пустился косой, как из лука стрела. Бежит, земля дрожит. Гора на пути встренется — он ее «на уру» возьмет; река — он и броду не ищет, прямо вплавь так и чешет; болото — он с пятой кочки на десятую перепрыгивает. Шутка ли? в тридевятое царство поспеть надо, да в баню сходить, да жениться («непременно женюсь!» ежеминутно твердил он себе), да обратно, чтобы к волку на завтрак попасть...

Даже птицы быстроте его удивлялись,— говорили: вот в «Московских Ведомостях» пишут, будто у зайцев не душа, а пар — а вон он как... улепетывает!

Прибежал, наконец. Сколько тут радостей было — этого ни в сказке не сказать, ни пером описать. Серенькая заинька, как увидела своего ненаглядного, так и про хворь позабыла. Встала на задние лапки, надела на себя барабан, и ну лапками «кавалерийскую рысь» выбивать — это она сюрприз жениху приготовила! А вдова-зайчиха так просто засовалась совсем; не знает, где усадить нареченного зятюшку, чем накормить. Прибежали тут тетки со всех сторон, да кумы, да сестрицы — всем лестно на жениха посмотреть, а может быть, и лакомого кусочка в гостях отведать.

Один жених словно не в себе сидит. Не успел с невестой намиловаться, как уж затвердил:

— Мне бы в баню сходить да жениться поскорее!

— Что больно к спеху занадобилось? — подшучивает над ним зайчиха-мать.

— Обратно бежать надо. Только на одни сутки волк и отпустил.

Рассказал он тут, ка́к и что́. Рассказывает, а сам горькими слезами разливается. И воротиться-то ему не хочется, и не воротиться нельзя. Слово, вишь, дал, а заяц своему слову — господин. Судили тут тетки и сестрицы — и те в один голос сказали: правду ты, косой, молвил: не давши слова — крепись, а давши — дер-

---

[1] Аманат — заложник.

жись! никогда во всем нашем заячьем роду того не бывало, чтобы зайцы обманывали!

Скоро сказка сказывается, а дело промежду зайцев еще того скорее делается. К утру косого окрутили, а перед вечером он уж прощался с молодой женой.

— Беспременно меня волк съест,— говорил он:— так ты будь мне верна. А ежели родятся у тебя дети, то воспитывай их строго. Лучше же всего отдай ты их в цирк: там их не только в барабан бить, но и в пушечку горохом стрелять научат.

И вдруг, словно в забытьи (опять, стало быть, про волка вспомнил), прибавил:

— А может быть, волк меня... ха-ха... и помилует!

Только его и видели.

Между тем, покуда косой жуировал да свадьбу справлял, на том пространстве, которое разделяло тридевятое царство от волчьего логова, великие беды приключились. В одном месте дожди пролились, так что река, которую за сутки раньше заяц шутя переплыл, вздулась и на десять верст разлилась. В другом месте король Андрон королю Никите войну объявил, и на самом заячьем пути сраженье кипело. В третьем месте холера проявилась — надо было целую карантинную цепь верст на сто обогнуть... А кроме того, волки, лисицы, совы — на каждом шагу так и стерегут.

Умен был косой; зараньше так рассчитал, чтобы три часа у него в запасе оставалось, однако, как пошли одни за другими препятствия, сердце в нем так и похолодело. Бежит он вечер, бежит полночи, ноги у него камнями иссечены, на боках от колючих ветвей шерсть клочьями висит; глаза помутились, у рта кровавая пена сочится, а ему вон еще сколько бежать осталось! И всё-то ему друг аманат, как живой, мерещится. Стоит он теперь у волка на часах и думает: через столько-то часов милый зятек на выручку прибежит. Вспомнит он об этом и еще шибче припустит. Ни горы, ни долы, ни леса, ни болота — всё ему нипочем! Сколько раз сердце в нем разорваться хотело, так он и над сердцем власть взял, чтобы бесплодные волнения его от главной цели не отвлекали. Не до горя теперь, не до слез; пускай все чувства умолкнут, лишь бы друга из волчьей пасти вырвать!

Вот уж и день заниматься стал. Совы, сычи, летучие мыши на ночлег потянули; в воздухе холодком пахнуло. И вдруг всё кругом затихло, словно помертвело. А косой всё бежит и всё одну думу думает: неужто ж я друга не выручу!

Заалел восток; сперва на дальнем горизонте слегка на облака огнем брызнуло, потом пуще и пуще, и вдруг — пламя! Роса на траве загорелась; проснулись птицы денные, поползли муравьи, черви, козявки; дымком откуда-то потянуло; во ржи и в овсах словно шепот пошел, слышнее, слышнее... А косой

ничего не видит, не слышит, только одно твердит: погубил я друга своего, погубил!

Но вот, наконец, гора. За этой горой — болото и в нем — волчье логово... опоздал, косой, опоздал!

Последние силы напрягает он, чтоб вскочить на вершину горы... вскочил! Но он уж не может бежать, он падает от изнеможения... неужто ж он так и не добежит?

Волчье логово перед ним как на блюдечке. Где-то вдали, на колокольне, бьет шесть часов, и каждый удар колокола словно молотом бьет в сердце измученного зверюги. С последним ударом волк поднялся с логова, потянулся и хвостом от удовольствия замахал. Вот он подошел к аманату, сгреб его в лапы и запустил когти в живот, чтобы разодрать его на две половины: одну для себя, другую для волчихи. И волчата тут; обсели кругом отца-матери, щелкают зубами, учатся.

— Здесь я! здесь! — крикнул косой, как сто тысяч зайцев вместе. И кубарем скатился с горы в болото.

И волк его похвалил.

— Вижу,— сказал он:— что зайцам верить можно. И вот вам моя резолюция: сидите, до поры до времени, оба под этим кустом, а впоследствии я вас... ха-ха... помилую!

МЕДВЕДЬ НА ВОЕВОДСТВЕ

Злодейства крупные и серьезные нередко именуются блестящими и в качестве таковых заносятся на скрижали[1] Истории. Злодейства же малые и шуточные именуются срамными, и не только Историю в заблуждение не вводят, но и от современников не получают похвалы.

I. Топтыгин 1-й

Топтыгин 1-й отлично это понимал. Был он старый служака-зверь, умел берлоги строить и деревья с корнями выворачивать; следовательно, до некоторой степени и инженерное искусство знал. Но самое драгоценное качество его заключалось в том, что он во что бы то ни стало на скрижали Истории попасть желал, и ради этого всему на свете предпочитал блеск кровопролитий. Так что об чем бы с ним ни заговорили: об торговле ли, о промышленности ли, об науках ли — он всё на одно поворачивал: кровопролитиев... кровопролитиев... вот чего нужно!

За это Лев произвел его в майорский чин и, в виде временной меры, послал в дальний лес, вроде как воеводой, внутренних супостатов усмирять.

---

[1] Скрижали — каменные таблицы, на которых в древности высекали записи о значительных исторических событиях.

Узнала лесная челядь, что майор к ним в лес едет, и задумалась. Такая в ту пору вольница между лесными мужиками шла, что всякий по-своему норовил. Звери — рыскали, птицы — летали, насекомые — ползали; а в ногу никто маршировать не хотел. Понимали мужики, что их за это не похвалят, но сами собой остепениться уж не могли. «Вот ужо́ придет майор,—говорили они:— засыплет он нам — тогда мы узнаем, как Кузькину тещу зовут!»

И точно: не успели мужики оглянуться, а Топтыгин уж тут как тут. Прибежал он на воеводство ранним утром, в самый михайлов день, и сейчас же решил: быть назавтра кровопролитию. Что́ заставило его принять такое решение — неизвестно: ибо он, собственно говоря, не был зол, а та́к — скотина.

И непременно бы он свой план выполнил, если бы лукавый его не попутал.

Дело в том, что, в ожидании кровопролития, задумал Топтыгин именины свои отпраздновать. Купил ведро водки и напился в одиночку пьян. А так как берлоги он для себя еще не выстроил, то пришлось ему, пьяному, среди полянки спать лечь. Улегся и захрапел, а под утро, как на грех, случилось мимо той полянки лететь чижику. Особенный это был чижик, умный: и ведерко таскать умел, и спеть, по нужде, за канарейку мог. Все птицы, глядя на него, радовались, говорили: увидите, что наш чижик со временем поноску носить будет! Даже до Льва об его уме слух дошел, и не раз он Ослу говаривал (Осел в ту пору у него в советах за мудреца слыл): хоть одним бы ухом послушать, как чижик у меня в когтях петь будет!

Но как ни умен был чижик, а тут не догадался. Думал, что гнилой чурбан на поляне валяется, сел на медведя и запел. А у Топтыгина сон тонок. Чует он, что по туше у него кто-то прыгает, и думает: беспременно это должен быть внутренний супостат!

— Кто там бездельным обычаем по воеводской туше прыгает? — рявкнул он наконец.

Улететь бы чижику надо, а он и тут не догадался. Сидит себе да дивится: чурбан заговорил! Ну, натурально, майор не стерпел: сгреб грубияна в лапу, да, не рассмотревши с похмелья, взял и съел.

Съесть-то съел, да съевши спохватился: что́ такое я съел? И какой же это супостат, от которого даже на зубах ничего не осталось? Думал-думал, но ничего, скотина, не выдумал. Съел — только и всего. И никаким родом этого глупого дела поправить нельзя. Потому что, ежели даже самую невинную птицу сожрать, то и она точно так же в майорском брюхе сгниет, как и самая преступная.

— Зачем я его съел? — допрашивал сам себя Топтыгин: — меня Лев, посылаючи сюда, предупреждал: делай знатные дела, от бездельных же стерегись! а я, с первого же шага, чижей глотать вздумал! Ну, да ничего! первый блин всегда комом! Хорошо, что, по раннему времени, никто дурачества моего не видал.

Увы! не знал, видно, Топтыгин, что, в сфере административной деятельности, первая-то ошибка и есть самая фатальная[1]. Что, давши с самого начала административному бегу направление вкось, оно впоследствии всё больше и больше будет отдалять его от прямой линии...

И точно, не успел он успокоиться на мысли, что никто его дурачества не видел, как слышит, что скворка ему с соседней березы кричит:

— Дурак! его прислали к одному знаменателю нас приводить, а он чижика съел!

Взбеленился майор: полез за скворцом на березу, а скворец, не будь глуп, на другую перепорхнул. Медведь — на другую, а скворка — опять на первую. Лазил-лазил майор, мочи нет измучился. А глядя на скворца, и ворона осмелилась:

— Вот так скотина! Добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он чижика съел!

Он — за вороной, ан из-за куста заинька выпрыгнул:

— Бурбон стоеросовый! Чижика съел!

Комар из-за тридевять земель прилетел:

— Risum teneatis, amici![2] Чижика съел!

Лягушка в болоте квáкнула:

— Олух царя небесного! Чижика съел!

Словом сказать, и смешно, и обидно. Тычется майор то в одну, то в другую сторону, хочет насмешников переловить, и всё мимо. И что больше старается, то у него глупее выходит. Не прошло и часу, как в лесу уж все, от мала до велика, знали, что Топтыгин-майор чижика съел. Весь лес вознегодовал. Не того от нового воеводы ждали. Думали, что он дебри и болота блеском кровопролитий воспрославит, а он натко чтó сделал! И куда ни направит Михайло Иваныч свой путь, везде по сторонам словно стон стоит: дурень ты, дурень! чижика съел!

Заметался Топтыгин, благим матом взревел. Только однажды в жизни с ним нечто подобное случилось. Выгнали его в ту пору из берлоги и напустили стаю шавок — так и впились, собачьи дети, и в уши, и в загривок, и под хвост! Вот так уж подлинно он смерть в глаза видел! Однако всё-таки кой-как отбоярился: штук с десяток шавок перекалечил, а от остальных утёк. А теперь и утечь нéкуда. Всякий куст, всякое дерево, всякая кочка, словно живые, дразнятся, а он — слушай! Филин, уж на чтó глупая птица, а и тот, наслышавшись от других, по ночам ухает: дурак! чижика съел!

Но что всего важнее: не только он сам унижение терпит, но видит, что и начальственный авторитет, в самом своем принципе, с каждым днем всё больше да больше умаляется. Того гляди,

---

[1] Фатальная — роковая.

[2] Risum teneatis, amici! — Воздержитесь от смеха, друзья! — цитата из римского поэта Горация.

и в соседние трущобы слух пройдет, и там его на смех подымут!

Удивительно, как иногда причины самые ничтожные к самым серьезным последствиям приводят. Маленькая птица чижик, а такому, можно сказать, стервятнику репутацию навек изгадил! Покуда не съел его майор, никому и на мысль не приходило сказать, что Топтыгин дурак. Все говорили: ваше степенство! вы — наши отцы, мы — ваши дети! Все знали, что сам Осел за него перед Львом предстательствует, а уж если Осел кого ценит — стало быть, он того стоит. И вот, благодаря какой-то ничтожнейшей административной ошибке, всем сразу открылось. У всех словно само собой с языка слетело: дурак! чижика съел! Всё равно, как если б кто бедного крохотного гимназистика педагогическими мерами до самоубийства довел... Но нет, и это не так, потому что довести гимназистика до самоубийства — это уж не срамное злодейство, а самое настоящее, к которому, пожалуй, прислушается и История... Но... чижик! скажите на милость! чижик! «Этакая ведь, братцы, уморушка!» — крикнули хором воробьи, ежи и лягушки.

Сначала о поступке Топтыгина говорили с негодованием (за родную трущобу стыдно); потом стали дразниться; сначала дразнили окольные [1], потом начали вторить и дальние; сначала птицы, потом лягушки, комары, мухи. Всё болото, весь лес.

— Так вот оно, общественное-то мнение что́ значит! — тужил Топтыгин, утирая лапой обшарпанное в кустах рыло: — а потом, пожалуй, и на скрижали Истории попадешь... с чижиком!

А История такое большое дело, что и Топтыгин, при упоминовении об ней, задумывался. Сам по себе он знал об ней очень смутно, но от Осла слыхал, что даже Лев ее боится: нехорошо, говорит, в зверином образе на скрижали попасть! История только отменнейшие кровопролития ценит, а о малых упоминает с оплеванием. Вот если б он, для начала, стадо коров перерезал, целую деревню воровством обездолил, или избу у полесовщика [2] по бревну раскатал — ну, тогда История... а впрочем, наплевать бы тогда на Историю! Главное, Осел бы тогда ему лестное письмо написал! А теперь, смотрите-ка! — съел чижика и тем себя воспрославил! Из-за тысячи верст прискакал, сколько прогонов и порционов [3] извел — и первым делом чижика съел... ах! Мальчишки на школьных скамьях будут знать! И дикий тунгуз, и сын степей калмык [4] — все будут говорить: майора Топтыгина посла-

[1] Окольные — окрестные.

[2] Полесовщик — лесной сторож.

[3] Прогоны — установленная плата за проезд на почтовых лошадях. Чиновники и офицеры высокого ранга получали при переездах большие прогонные деньги; так, генералам полагалась оплата проезда на 10—12 лошадях. Порционы — деньги на продовольствие.

[4] И дикий тунгуз и сын степей калмык — неточно приведенная строка из стихотворения Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».

ли супостата покорить, а он, вместо того, чижика съел! Ведь у него, у майора, у самого дети в гимназию ходят! До сих пор их майорскими детьми величали, а напредки проходу им школяры не дадут, будут кричать: чижика съел! чижика съел! Сколько потребуется генеральных кровопролитиев учинить, чтоб экую пакость загладить! Сколько народу ограбить, разорить, загубить!

Проклятое то время, которое с помощью крупных злодеяний цитадель общественного благоустройства сооружает, но срамное, срамное, тысячекратно срамное то время, которое той же цели мнит достигнуть с помощью злодеяний срамных и малых!

Мечется Топтыгин, ночей не спит, докладов не принимает, всё об одном думает: ах, что-то Осел об моей майорской проказе скажет!

И вдруг, словно сон в руку, предписание от Осла: «До сведения его высокостепенства господина Льва дошло, что вы внутренних врагов не усмирили, а чижика съели — правда ли?»

Пришлось сознаться. Покаялся Топтыгин, написал рапорт и ждет. Разумеется, никакого иного ответа и быть не могло, кроме одного: «дурак! чижика съел!» Но частным образом Осел дал виноватому знать (медведь-то ему кадочку с медом в презент[1] при рапорте отослал): непременно вам нужно особливое кровопролитие учинить, дабы гнусное оное впечатление истребить...

— Коли за этим дело стало, так я еще репутацию свою поправлю! — молвил Михайло Иваныч, и сейчас же напал на стадо баранов и всех до единого перерезал. Потом бабу в малиннике поймал и лукошко с малиной отнял. Потом стал корни и нити разыскивать, да кстати целый лес осин выворотил. Наконец, забрался ночью в типографию, станки разбил, шрифт смешал, а произведения ума человеческого в отхожую яму свалил.

Сделавши всё это, сел, сукин сын, на корточки и ждет поощрения.

Однако ожидания его не сбылись.

Хотя Осел, воспользовавшись первым же случаем, подвиги Топтыгина в лучшем виде расписал, но Лев не только не наградил его, но собственнолапно на Ословом докладе сбоку нацарапал: «не верю, штоп сей офицер храбр был; ибо это тот самый Таптыгин, который маво любимова Чижика сиел!»

И приказал отчислить его по инфантерии[2].

Так и остался Топтыгин 1-й майором навек. А если б он прямо с типографий начал — быть бы ему теперь генералом.

II. Топтыгин 2-й

Но бывает и так, что даже блестящие злодеяния в прок не идут. Плачевный пример этому суждено было представить другому Топтыгину.

---

[1] Презент — подарок, подношение.
[2] Инфантерия — пехота.

В то самое время, когда Топтыгин 1-й отличался в своей трущобе, в другую такую же трущобу послал Лев другого воеводу, тоже майора и тоже Топтыгина. Этот был умнее своего тезки и, что всего важнее, понимал, что в деле административной репутации от первого шага зависит всё будущее администратора. Поэтому, еще до получения прогонных денег, он зрело обдумал свой план кампании и тогда только побежал на воеводство.

Тем не менее карьера его была еще менее продолжительна, нежели Топтыгина 1-го.

Главным образом он рассчитывал на то, что как приедет на место, так сейчас же разорит типографию: это и Осел ему советовал. Оказалось, однако ж, что во вверенной ему трущобе ни одной типографии нет; хотя же старожилы и припоминали, что существовал некогда — вон под той сосной — казенный ручной станок, который лесные куранты тискал[1], но еще при Магницком[2] этот станок был публично сожжен, а оставлено было только цензурное ведомство, которое возложило обязанность, исполнявшуюся курантами, на скворцов. Последние каждое утро, летая по лесу, разносили политические новости дня, и никто от того никаких неудобств не ощущал. Затем известно было еще, что дятел на древесной коре, не переставаючи, пишет «Историю лесной трущобы», но и эту кору, по мере начертания на ней письмен, точили и растаскивали воры-муравьи. И, таким образом, лесные мужики жили, не зная ни прошедшего, ни настоящего и не заглядывая в будущее. Или, другими словами, слонялись из угла в угол, окутанные мраком времен.

Тогда майор спросил, нет ли в лесу, по крайней мере, университета или хоть академии, дабы их спалить; но оказалось, что и тут Магницкий его намерения предвосхитил: университет в полном составе поверстал в линейные батальоны[3], а академиков заточил в дупло, где они и поднесь в летаргическом сне[4] пребывают. Рассердился Топтыгин и потребовал, чтобы к нему привели Магницкого, дабы его растерзать («similia similibus curantur»[5]), но получил в ответ, что Магницкий, волею божией, по́мре.

Нечего делать, потужил Топтыгин 2-й, но в уныние не впал. «Коли душу у них, у мерзавцев, за неимением, погубить нельзя,— сказал он себе: — стало быть, прямо за шкуру приниматься надо!»

---

[1] Куранты тискал — печатал газету.

[2] Магницкий М. Л. — видный чиновник эпохи Александра I; отъявленный реакционер и гаситель просвещения.

[3] Линейные батальоны — войсковые части в отдаленных военных округах, граничащих с азиатскими государствами.

[4] Летаргический сон — болезненное состояние «мнимой смерти», при котором исчезают все признаки жизни и живой человек имеет вид трупа.

[5] «Similia similibus curantur» (латин.) — «подобное излечивается подобным».

Сказано — сделано. Выбрал он ночку потемнее и забрался во двор к соседнему мужику. По очереди, лошадь задрал, корову, свинью, пару овец, и хоть знает, негодяй, что уж в лоск мужичка разорил, а всё ему мало кажется. «Постой,— говорит: — я у тебя двор по бревну раскатаю, навеки тебя с сумой по́ миру пущу!» И, сказа́вши это, полез на крышу, чтоб злодейство свое выполнить. Только не рассчитал, что матица-то[1] гнилая была. Как только он на нее ступил, она возьми да и провались. Повис майор на воздухе; видит, что неминучее дело об землю грохнуться, а ему не хочется. Облапил обломок бревна и заревел.

Сбежались на рев мужики, кто с колом, кто с топором, а кто и с рогатиной. Куда ни обернутся — кругом, везде погром. Загородки поломаны, двор раскрыт, в хлевах лужи крови стоят. А посреди двора и сам ворог висит. Взорвало мужиков.

— Ишь, анафема! перед начальством выслужиться захотел, а мы через это пропадать должны! А ну-тко-то, братцы, уважим его!

Сказавши это, поставили рогатину на то самое место, где Топтыгину упасть надлежало, и уважили. Затем содрали с него шкуру, а стерво вывезли в болото, где к утру его расклевали хищные птицы.

Таким образом, явилась новая лесная практика, которая установила, что и блестящие злодейства могут иметь последствия не менее плачевные, как и злодейства срамные.

Эту вновь установившуюся практику подтвердила и лесная История, присовокупив, для вящей вразумительности, что принятое в исторических руководствах (для средних учебных заведений издаваемых) подразделение злодейств на блестящие и срамные упраздняется навсегда и что отныне всем вообще злодействам, каковы бы ни были их размеры, присвояется наименование «срамных».

По докладу о сем Осла, Лев собственнолапно на оном нацарапал так: «О приговоре Истории дать знать майору Топтыгину 3-му: пускай изворачивается».

III. Топтыгин 3-й

Третий Топтыгин был умнее своих тезоименитых предшественников. «Дело-то выходит бросовое! — сказал он себе, прочитав резолюцию Льва: — мало напакостишь — поднимут на смех; много напакостишь — на рогатину поднимут... Полно, ехать ли уж?»

Спрашивал он рапортом у Осла: «ежели-де ни большие, ни малые злодеяния совершать не разрешается, то нельзя ли хоть средние злодеяния совершать?» — но Осел ответил уклончиво: «все-де нужные по сему предмету указания вы найдете в Лесном

[1] Матица — балка, поддерживающая потолок.

уставе». Заглянул он в Лесной устав, но там обо всем говорилось: и о пушной подати, и о грибной, и об ягодной, даже об шишках еловых, а о злодеяниях — молчок! И затем, на все его дальнейшие докуки и настояния, Осел отвечал с одинаковою загадочностью: «действуйте по пристойности!»

— Вот до какого мы времени дожили! — роптал Топтыгин 3-й: — чин на тебя большой накладывают, а какими злодействами его подтвердить — не указывают!

И опять мелькнуло у него в голове: полно, ехать ли? и если б не вспомнилось, какая уйма подъемных и прогонных денег для него в казначействе припасена, право, кажется, не поехал бы!

Прибыл он в трущобу на своих на двоих — очень скромно. Ни официальных приемов не назначил, ни докладных дней, а прямо юркнул в берлогу, засунул лапу в хайло и залег. Лежит и думает: «даже с зайца шкуру содрать нельзя — и то, пожалуй, за злодейство сочтут! И кто сочтет? добро бы Лев или Осел — это бы куда ни шло! — а то мужики какие-то. Да Историю еще какую-то нашли — вот уж подлинно ис-то-ри-я!!» Хохочет Топтыгин в берлоге, про Историю вспоминаючи, а на сердце у него жутко: чует он, что сам Лев Истории боится... Как тут будешь лесную сволочь подтягивать — и ума приложить не может. Спрашивают с него много, а разбойничать не велят! В какую бы сторону он ни устремился, только что разбежится — стой, погоди! не в свое место заехал! Везде «права́» завелись. Даже у белки, и у той нынче права! Дробину тебе в нос — вот какие твои права! У н и х — права́, а у него, вишь, обязанности! Да и обязанностей-то настоящих нет — просто пустое место! О н и — друг друга поедом едят, а он — задрать никого не смеет! На что́ похоже! А всё Осел! Он, именно он мудрит, он эту канитель разводит! «Кто осла дивия быстра соделал? узы ему кто разрешил?»[1] — вот об чем нужно бы ему всечасно помнить, а он об «правах» мычит! «Действуйте по пристойности!» — ах!

Долго он таким образом лапу сосал и даже настоящим образом в управление вверенной ему трущобой не вступал. Пробовал он однажды об себе «по пристойности» заявить, влез на самую высокую сосну и оттуда не своим голосом рявкнул, но и от этого пользы не вышло. Лесная сволочь, давно не видя злодейств, до того обнаглела, что, услышавши его рев, только молвила: чу, Мишка ревет! гляди, что лапу во сне прокусил! С тем и отъехал Топтыгин 3-й опять в берлогу...

Но повторяю: он был медведь умный и не затем в берлогу залег, чтобы в бесплодных сетованиях изнывать, а затем, чтоб до чего-нибудь настоящего додуматься.

И додумался.

---

[1] «К т о о с л а д и в и я б ы с т р а с о д е л а л? у з ы е м у к т о р а з р е ш и л?» (церк.-слав.) — «Кто создал дикого осла быстроногим? кто дал ему свободу?»

Дело в том, что, покуда он лежал, в лесу всё само собой установленным порядком шло. Порядок этот, конечно, нельзя было назвать вполне «благополучным», но ведь задача воеводства совсем не в том состоит, чтобы достигать какого-то мечтательного благополучия, а в том, чтобы исстари заведенный порядок (хотя бы и не благополучный) от повреждений оберегать и ограждать. И не в том, чтобы какие-то большие, средние или малые злодейства устраивать, а довольствоваться злодействами «натуральными». Ежели исстари повелось, что волки с зайцев шкуру дерут, а коршуны и совы ворон ощипывают, то, хотя в таком «порядке» ничего благополучного нет, но так как это всё-таки «порядок» — стало быть, и следует признать его за таковой. А ежели при этом ни зайцы, ни вороны не только не ропщут, но продолжают плодиться и населять землю, то это значит, что «порядок» не выходит из определенных ему искони границ. Неужели и этих «натуральных» злодейств недостаточно?

В данном случае всё именно так происходило. Ни разу лес не изменил той физиономии, которая ему приличествовала. И днем, и ночью он гремел миллионами голосов, из которых одни представляли агонизирующий вопль, другие — победный клик. И наружные формы, и звуки, и свето-тени, и состав населения — всё представлялось неизменным, как бы застывшим. Словом сказать, это был порядок, до такой степени установившийся и прочный, что при виде его даже самому лютому, рьяному воеводе не могла придти в голову мысль о каких-либо увенчательных злодействах, да еще «под личною вашего степенства ответственностью».

Таким образом, перед умственным взором Топтыгина 3-го вдруг выросла целая теория неблагополучного благополучия. Выросла со всеми подробностями и даже с готовой проверкой на практике. И вспомнилось ему, как однажды, в дружеской беседе, Осел говорил:

— Об каких это вы всё злодействах допрашиваете? Главное в нашем ремесле — это: laissez passer, laissez faire[1]. Или, порусски выражаясь: дурак на дураке сидит и дураком погоняет! Вот вам. Если вы, мой друг, станете этого правила держаться, то и злодейство само собой сделается, и всё у вас будет обстоять благополучно!

Так оно именно по его и выходит. Надо только сидеть и радоваться, что дурак дурака дураком погоняет, а всё остальное приложится.

— Я даже не понимаю, зачем воевод посылают! ведь и без них...— слиберальничал было майор, но, вспомнив о присвоенном ему содержании, замял нескромную мысль: ничего, ничего, молчание...

С этими словами он перевернулся на другой бок и решился

[1] Laissez passer, laissez faire! (франц.) — дозвольте, не препятствуйте!

выходить из берлоги только для получения присвоенного содержания. И затем всё пошло в лесу как по маслу. Майор спал, а мужики приносили поросят, кур, меду и даже сивухи, и складывали свои дани у входа в берлогу. В указанные часы майор просыпался, выходил из берлоги и жрал.

Таким образом пролежал Топтыгин 3-й в берлоге многие годы. И так как неблагополучные, но вожделенные лесные порядки ни разу в это время нарушены не были и так как никаких при этом злодейств, кроме «натуральных», не производилось, то и Лев не оставил его милостью. Сначала произвел в подполковники, потом в полковники и наконец...

Но тут явились в трущобу мужики-лукаши,[1] и вышел Топтыгин 3-й из берлоги в поле. И постигла его участь всех пушных зверей.

ОРЕЛ-МЕЦЕНАТ

Поэты много об орлах в стихах пишут, и всегда с похвалой. И статьи[2] у орла красоты неописанной, и взгляд быстрый, и полет величественный. Он не летает, как прочие птицы, а парит, либо ширяет; сверх того: глядит на солнце и спорит с громами. А иные даже наделяют его сердце великодушием. Так что ежели, например, хотят воспеть в стихах городового, то непременно сравнивают его с орлом. Подобно орлу, говорят, городовой бляха № такой-то высмотрел, выхватил и, выслушав,— простил.

Я сам очень долго этим панегирикам[3] верил. Думал: ведь, в самом деле, красиво! Выхватил... простил! простил!? — вот что́ в особенности пленяло. Кого простил? — мышь!! Что́ такое мышь?! И я бежал впопыхах к кому-нибудь из друзей-поэтов и сообщал о новом акте великодушия орла. А друг-поэт становился в позу, с минуту сопел, и затем его начинало тошнить стихами.

Но однажды меня осенила мысль: с чего же, однако, орел «простил» мышь? Бежала она по своему делу через дорогу, а он увидел, налетел, скомкал и... простил! Почему он «простил» мышь, а не мышь «простила» его?

Дальше — больше. Стал я прислушиваться и приглядываться. Вижу: что-то тут неблагополучно. Во-первых, совсем не затем орел мышей ловит, чтоб их прощать. Во-вторых, ежели и допустить, что орел «простил» мышь, то, право, было бы гораздо лучше, если б он совсем ею не интересовался. И, в-третьих, нако-

[1] «Лукаши» — мужички из Великолуцкого уезда Псковской губернии, которые занимаются изучением привычек и нравов лесных зверей и потом предлагают охотникам свои услуги для облав. *(Прим. Щедрина.)*

[2] Статьи, или стати — особенности телосложения животных.

[3] Панегирик — восхваление.

нец, будь он хоть орел, хоть архиорел, всё-таки он — птица. До такой степени птица, что сравнение с ним и для городового может быть лестно только по недоразумению.

И теперь я думаю об орлах так: орлы суть орлы, только и всего. Они хищны, плотоядны, но имеют в свое оправдание, что сама природа устроила их исключительно антивегетарианцами. И так как они в то же время сильны, дальнозорки, быстры и беспощадны, то весьма естественно, что, при появлении их, всё пернатое царство спешит притаиться. И это происходит от страха, а не от восхищения, как уверяют поэты. А живут орлы всегда в отчуждении, в неприступных местах, хлебосольством не занимаются, но разбойничают, а в свободное от разбоя время дремлют.

Выискался, однако ж, орел, которому опостылело жить в отчуждении. Вот и говорит он однажды своей орлице:

— Скучно сам-друг с глазу на глаз жить. Смотришь целый день на солнце — инда одуреешь.

И начал он задумываться. Что больше думает, то чаще и чаще ему мерещится: хорошо бы так пожить, как встарину помещики живали. Набрал бы он дворню и зажил бы припеваючи. Вороны бы сплетни ему переносили, попугаи — кувыркались бы, сорока бы кашу варила, скворцы — величальные песни бы пели, совы, сычи да филины по ночам дозором летали бы, а ястребы, коршуны да соколы пищу бы ему добывали. А он бы оставил при себе одну кровожадность. Думал-думал, да и решился. Кликнул однажды ястреба, коршуна да сокола и говорит им:

— Соберите мне дворню, как встарину у помещиков бывало: она меня утешать будет, а я ее в страхе держать стану. Вот и все.

Выслушали хищники этот приказ и полетели во все стороны. Закипело у них дело не на шутку. Прежде всего нагнали целую уйму ворон. Нагнали, записали в ревизские сказки и выдали окладные листы [1]. Ворона — птица плодущая и на всё согласная. Главным же образом тем она хороша, что сословие «мужиков» представлять мастерица. А известно, что ежели готовы «мужички», то дело остается только за деталями, которые уж ничего не стоит скомпоновать. И скомпоновали. Из коростелей и гагар духовой оркестр собрали, попугаев скоморохами нарядили, сороке-белобоке, благо воровка она, ключи от казны препоручили, сычей да филинов заставили по ночам дозором летать. Словом сказать, такую обстановку устроили, что хоть какому угодно дворянину не стыдно. Даже кукушку не забыли, в гадалки при орлице определили, а для кукушкиных сирот воспитательный дом выстроили.

Но не успели порядком дворовые штаты в действие ввести, как уже убедились, что есть в них какой-то пропуск. Думали-

[1] **Ревизские сказки** — списки крестьян, составлявшиеся при ревизии (переписи). **Окладной лист** — извещение плательщику о размере налога.

думали, что́ бы такое было, и, наконец, догадались: во всех дворнях полагаются науки и искусства, а у орла нет ни тех, ни других.

Три птицы, в особенности, считали этот пропуск для себя обидным: снегирь, дятел и соловей.

Снегирь был малый шустрый и с отроческих лет насвистанный. Воспитывался он первоначально в школе кантонистов, потом служил в полку писарем и, научившись ставить знаки препинания, начал издавать, без предварительной цензуры, газету «Вестник лесов». Только никак приноровиться не мог. То чего-нибудь коснется — ан касаться нельзя; то чего-нибудь не коснется — ан касаться не только можно, но и должно. А его за это в головку тук да тук. Вот он и замыслил: пойду в дворню к орлу! Пускай он повелит безнаказанно славу его каждое утро возвещать!

Дятел был скромный ученый и вел строго уединенную жизнь. Ни с кем никогда не виделся (многие даже думали, что он запо́ем, как и все серьезные ученые, пьет), но целые дни сидел на сосновом суку и всё долбил. И надолбил он целую охапку исторических исследований: «Родословная лешего», «Была ли замужем баба-яга», «Каким по́лом надлежит ведьм в ревизские сказки заносить?» и проч. Но сколько ни долбил, издателя для своих книжиц найти не мог. Поэтому и он надумал: пойду к орлу в дворовые историографы![1] авось-либо он вороньим иждивением исследования мои отпечатает!

Что касается до соловья, то он на жизненные невзгоды пожаловаться не мог. Пел он искони́ так сладко, что не только сосны стоеросовые, но и московские гостинодворцы, слушая его, умилялись. Весь мир его любил, весь мир, притаив дыхание, заслушивался, как он, забравшись в древесную чащу, сладкими песнями захлебывался. Но он был сладострастен и славолюбив выше всякой меры. Мало было ему вольной песней по лесу греметь, мало огорченные сердца гармонией звуков напоять... Думалось: орел ему на шею ожерелье из муравьиных яиц повесит, всю грудь живыми тараканами изукрасит, а орлица будет тайные свидания при луне назначать...

Словом сказать, пристали все три птицы к соколу: доложи да доложи!

Выслушал орел соколиный доклад о необходимости водворения наук и искусств и не сразу понял. Сидит себе да цыркает, да когтями играет, а глаза у него, словно точеные камешки, глянцем на солнце отливают. Никогда он ни одной газеты не видывал; ни бабой-ягой, ни ведьмами не интересовался, а об соловье только одно слыхал: что эта птица малая, не сто́ит из-за нее клюв марать.

— Ты, поди, не знаешь, что и Бонапарт-то умер? — спросил сокол.

[1] Историограф — официальный придворный историк.

— Какой-такой Бонапарт?

— То-то вот. А знать об этом не худо. Ужо́ гости приедут, разговаривать будут. Скажут: при Бонапарте это было, а ты будешь глазами хлопать. Нехорошо.

Призвали на совет сову,— и та подтвердила, что надо науки и искусства в дворнях заводить, потому что при них и орлам занятнее живется, да и со стороны посмотреть не зазорно. Ученье — свет, а неученье — тьма. Спать-то да жрать всякий умеет, а вот поди, разреши задачу: «летело стадо гусей» — ан до́ма не скажешься. Умные-то помещики, бывало, за битого двух небитых давали,— значит, пользу в том видели. Вон чижик: только и науки у него, что ведерко с водой таскать умеет, а какие деньги за этакого-то платят!

— Я в темноте видеть могу, так меня за это мудрой прозвали, а ты и на солнце по целым часам не смигнувши глядишь, а про тебя говорят: ловок орел, а простофиля.

— Что ж, я не прочь от наук! — цыркнул орел.

Сказано — сделано. На другой же день у орла в дворне начался «золотой век». Скворцы разучивали гимн «Науки юношей питают»[1], коростели и гагары на трубах сыгрывались, попугаи — новые куиштюки[2] выдумывали. С ворон определили новый налог, под названием «просветительного»; для молодых соколят и ястребят устроили кадетские корпуса; для сов, филинов и сычей — академию де сиянс[3], да кстати уж и воронятам купили по экземпляру азбуки-копейки. И в заключение самого старого скворца определили стихотворцем, под именем Василия Кирилыча Тредьяковского,[4] и отдали ему приказ, чтоб назавтра же был готов к состязанию с соловьем.

И вот вожделенный день наступил. Поставили пред лицо орла новобранцев и велели им хвастаться.

Самый большой успех достался на долю снегиря. Вместо приветствия он прочитал фельетон, да такой легкий, что даже орлу показалось, что он понимает. Говорил снегирь, что надо жить припеваючи, а орел подтвердил: имянно! Говорил, что была бы у него розничная продажа хорошая, а до прочего ни до чего ему дела нет, а орел подтвердил: имянно! Говорил, что холопское житье лучше барского, что у барина заботушки много, а холопу за барином горюшка нет, а орел подтвердил: имянно! Говорил, что когда у него совесть была, то он без штанов ходил, а теперь, как совести ни капельки не осталось, он разом по две пары штанов надевает,— а орел подтвердил: имянно!

---

[1] «Науки юношей питают» — цитата из оды Ломоносова «На день восшествия на престол императрицы Елисаветы Петровны».

[2] Куиштюки — фокусы.

[3] Академия де сиянс (с франц. Académie des sciences) — Академия наук.

[4] Тредьяковский В. К.— поэт и ученый XVIII века. Здесь его имя употреблено (согласно принятому тогда взгляду) как имя бездарного поэта, пишущего подобострастные стихи по заказу властей.

Наконец, снегирь надоел.

— Следующий! — цыркнул орел.

Дятел начал с того, что генеалогию[1] орла от солнца повел, а орел с своей стороны подтвердил: и я в этом роде от папеньки слышал. Было у солнца,— говорил дятел: — трое детей: дочь Акула да два сына: Лев да Орел. Акула была распутная — ее за это отец в морские пучины заточил; сын Лев от отца отшатнулся — его отец владыкою над пустыней сделал; а Орёлко был сын почтительный, отец его поближе к себе пристроил — воздушные пространства ему во владенье отвел.

Но́ не успел дятел даже введение к своему исследованию продолбить, как уже орел в нетерпенье кричал:

— Следующий! следующий!

Тогда запел соловей и сразу же осрамился. Пел он про радость холопа, узнавшего, что бог послал ему помещика; пел про великодушие орлов, которые холопам на водку не жалеючи дают... Однако, как он ни выбивался из сил, чтобы в холопскую ногу попасть, но с «искусством», которое в нем жило, никак совладать не мог. Сам-то он сверху донизу холоп был (даже подержанным белым галстуком где-то раздобылся и головушку барашком завил), да «искусство» в холопских рамках усидеть не могло, беспрестанно на волю выпирало. Сколько он ни пел — не понимает орел, да и шабаш!

— Что́ этот дуралей бормочет! — крикнул он наконец: — позвать Тредьяковского!

А Василий Кирилыч тут как тут. Те же холопские сюжеты взял, да так их явственно изложил, что орел только и дело, что повторял: имянно! имянно! имянно! И в заключение надел на Тредьяковского ожерелье из муравьиных яиц, а на соловья сверкнул очами, воскликнув: убрать негодяя!

На этом честолюбивые попытки соловья и покончились. Живо запрятали его в куролеску и продали в Зарядье, в трактир «Расставанье друзей», где и о сю пору он напояет сладкой отравой сердца захмелевших «метеоров».

Тем не менее дело просвещения всё-таки не было покинуто. Ястребята и соколята продолжали ходить в гимназии; академия де сиянс принялась издавать словарь и одолела половину буквы А; дятел дописывал 10-й том «Истории леших». Но снегирь притаился. С первого же дня он почуял, что всей этой просветительной сутолоке последует скорый и немилостивый конец, и, по-видимому, предчувствия его имели довольно верное основание.

Дело в том, что сокол и сова, принявшие на себя руководительство в просветительном деле, допустили большую ошибку: они задумали обучить грамоте самого орла. Учили его по звуковому методу, легко и занятно, но, как ни бились, он и через год, вместо «Орел», подписывался «Аре́р», так что ни один солидный

[1] Генеалогия — родословная, история рода.

заимодавец векселей с такой подписью не принимал. Но еще бо́льшая ошибка заключалась в том, что, подобно всем вообще педагогам, ни сова, ни сокол не давали орлу ни отдыха, ни срока. Каждоминутно следовала сова по его пятам, выкрикивая: бб... вз... хх..., а сокол, тоже ежеминутно, внушал, что без первых четырех правил арифметики награбленную добычу разделить нельзя.

— Украл ты десять гусенков, двух письмоводителю квартального подарил, одного сам съел — сколько в запасе осталось? — с укоризною спрашивал сокол.

Орел не мог разрешить и молчал, но зло против сокола накоплялось в его сердце с каждым днем больше и больше.

Произошла натянутость отношений, которою поспешила воспользоваться интрига. Во главе заговора явился коршун и увлек за собой кукушку. Последняя стала нашептывать орлице: изведут они кормильца нашего, заýчат! а орлица начала орла дразнить: ученый! ученый! затем, общими силами, возбудили «дурные страсти» в ястребе.

И вот однажды на зорьке, едва орел глаза продрал, сова, по обыкновению, подкралась сзади и зажужжала ему в уши: вв... вз... рррр...

— Уйди, постылая! — кротко огрызнулся орел.

— Извольте, ваше степенство, повторить: бб... кк... мм...

— Второй раз говорю: уйди!

— Пп... хх... шш...

В один миг повернулся орел к сове и разорвал ее надвое. А через час, ничего не ведая, воротился с утренней охоты сокол.

— Вот тебе задача,— сказал он: — награблено нынче за ночь два пуда дичины; ежели на две равные части эту добычу разделить, одну — тебе, другую — всем прочим челядинцам,— сколько на твою долю достанется?

— Всё,— отвечал орел.

— Ты говори дело,— возразил сокол.— Ежели бы «всё», я бы и спрашивать тебя не стал!

Не впервые такие задачи сокол задавал; но на этот раз тон, принятый им, показался орлу невыносимым. Вся кровь в нем вскипела при мысли, что он говорит «всё», а холоп осмеливается возражать: «не всё». А известно, что когда у орлов кровь закипает, то они педагогические приемы от крамолы отличать не умеют. Так он и поступил.

Но, покончивши с соколом, орел, однако, оговорился:

— А де сиянс академии оставаться по-прежнему!

Опять пропели скворцы: «Науки юношей питают», но для всех уже было ясно, что «золотой век» находится на исходе. В перспективе надвигался мрак невежества, со своими обязательными спутниками: междоусобием и всяческою смутою.

Смута началась с того, что на место умершего сокола явилось два претендента: ястреб и коршун. И так как внимание обоих соперников было устремлено исключительно в сторону личных счетов, то дела дворни отошли на второй план и начали мало-помалу приходить в запущение.

Через месяц от недавнего «золотого века» не осталось и следов. Скворцы заленились, коростели стали фальшивить, сорока-белобока воровала без просыпу, а на воронах накопилась такая пропасть недоимок, что пришлось прибегнуть к экзекуции[1]. Дошло до того, что даже пищу орлу с орлицей начали подавать порченую.

Чтоб оправдать себя в этой неурядице, ястреб и коршун временно подали друг другу руку и свалили все невзгоды на просвещение. Науки-де, бесспорно, полезны, но лишь тогда, когда они благовременны. Жили-де наши дедушки без наук, и мы без них проживем...

И в доказательство, что весь вред от наук идет, начали открывать заговоры, и непременно такие, чтобы хоть часослов да замешан в них был. Начались розыски, следствия, судбища...

— Шабаш! — вдруг раздалось в вышине.

Это крикнул орел. Просвещение прекратило течение свое. Во всей дворне воцарилась такая тишина, что слышно было, как ползут по земле клеветнические шепоты.

Первою жертвою нового веяния пал дятел. Бедная эта птица, ей-богу, не виновата была. Но она знала грамоте, и этого было вполне достаточно для обвинения.

— Знаки препинания ставить умеешь?

— Не только обыкновенные знаки препинания, но и чрезвычайные, как то: кавычки, тире, скобки — всегда, по сущей совести, становлю.

— А женский пол от мужеского отличить можешь?

— Могу. Даже в ночное время не ошибусь.

Только и всего. Нарядили дятла в кандалы и заточили в дупло навечно. А на другой день он в том дупле, заеденный муравьями, по́мре.

Едва кончилась история с дятлом, как последовал погром в академии де сиянс.

Однако ж сычи и филины защищались твердо: жалко им было с теплыми казенными квартирами расставаться. Говорили, что не того ради сиянсами занимаются, дабы их распространять, а для того, чтобы от лихого глаза их оберегать. Но коршун сразу уверткн их опровергнул, спросив: да сиянсы-то зачем? И они на этот вопрос не ответили (не ждали). Тогда их поштучно распродали огородникам, а последние, набив из них чучелов, поставили огороды сторожить.

---

[1] Экзекуция — телесное наказание.

В это же самое время отобрали у вороият азбуку-копейку, истолкли оную в ступе и из получеиной массы наделали игральных карт.

Дальше — больше. За совами и филинами последовали скворцы, коростели, попугаи, чижи... Даже глухого тетерева заподозрили в «образе мыслей» иа том основаиии, что он днём молчит, а иочью спит.

Дворня опустела. Остались орел с орлицею, и при них ястреб да коршун. А вдали — масса воронья, которое бессовестно плодилось. И чем больше плодилось, тем больше иакоплялось иа нем недоимок.

Тогда коршун с ястребом, не зная, кого изводить (воронье в счет ие полагалось), стали изводить друг друга. И всё на почве наук. Ястреб донес, что коршун, по секрету, читает часослов [1], а коршун съябедничал, что у ястреба в дупле «новейший песенник» спрятан.

Орел смутился...

Но тут уж сама История ускорила свое течеине, чтоб положить коиец этой сумятице. Произошло иечто иеобыкиовеииое. Увидев, что они остались без призора, вороны вдруг спохватились: а что бишь на этот счет в азбуке-копейке сказано? И не успели порядком припомиить, как тут же инстинктивно снялись всем стадом с места и полетели.

Погиался за ними орел, да не тут-то было: сладкое помещичье житье до того его изнежило, что он едва крыльями мог шевелить.

Тогда он повернулся к орлице и возгласил:

— Сие да послужит орлам уроком!

Но что означало в данном случае слово «урок», то ли, что просвещеиие для орлов вредно, или то, что орлы для просвещения вредны, или, накоиец, и то и другое вместе — об этом он умолчал.

КАРАСЬ-ИДЕАЛИСТ [2]

Карась с ершом спорил. Карась говорил, что можио иа свете одною правдою прожить, а ерш утверждал, что нельзя без того обойтись, чтоб ие слукавить. Что именно разумел ерш под выражением «слукавить» — неизвестио, ио только всякий раз, как он эти слова произносил, карась в негодоваиии восклицал:

— Но ведь это подлость!

На что ерш возражал:

---

[1] Часослов — богослужебная книга. Встарину по ней учились читать.

[2] Идеалист — здесь в смысле: непрактичный человек, не понимающий реальиой жизни, на место которой он подставляет воображаемый, украшенный вымыслами мир.

— Вот ужо увидишь!

Карась — рыба смирная и к идеализму склонная: недаром его монахи любят. Лежит она больше на самом дне речной за́води (где потише) или пруда, зарывшись в ил, и выбирает оттуда микроскопических ракушек для своего продовольствия. Ну, натурально, полежит-полежит, да что-нибудь и выдумает. Иногда даже и очень вольное. Но так как караси ни в цензуру своих мыслей не представляют, ни в участке не прописывают, то в политической неблагонадежности их никто не подозревает. Если же иногда и видим, что от времени до времени на карасей устраивается облава, то отнюдь не за вольнодумство, а за то, что они вкусны.

Ловят карасей, по преимуществу, сетью или неводом; но чтобы ловля была удачна, необходимо иметь сноровку. Опытные рыбаки выбирают для этого время сейчас вслед за дождем, когда вода бывает мутна, и затем, заводя невод, начинают хлопать по воде канатом, палками и вообще производить шум. Заслышав шум и думая, что он возвещает торжество вольных идей, карась снимается со дна и начинает справляться, нельзя ли и ему какнибудь пристроиться к торжеству. Тут-то он и попадает во множестве в мотню, чтобы потом сделаться жертвою человеческого чревоугодия. Ибо, повторяю, караси представляют такое лакомое блюдо (особливо изжаренные в сметане), что предводители дворянства [1] охотно потчуют ими даже губернаторов.

Что касается до ершей, то это рыба уже тронутая скептицизмом, и притом колючая. Будучи сварена в ухе, она дает бесподобный бульон.

Каким образом случилось, что карась с ершом сошлись,— не знаю; знаю только, что однажды, сошедшись, сейчас же заспорили. Поспорили раз, поспорили другой, а потом и во вкус вошли, свидания друг другу стали назначать. Сплывутся где-нибудь под водяным лопухом и начнут умные речи разговаривать. А плотва-белобрюшка резвится около них и ума-разума набирается.

Первым всегда задирал карась.

— Не верю,— говорил он: — чтобы борьба и свара были нормальным законом, под влиянием которого будто бы суждено развиваться всему живущему на земле. Верю в бескровное преуспеяние, верю в гармонию [2] и глубоко убежден, что счастие — не праздная фантазия мечтательных умов, но рано или поздно сделается общим достоянием!

— Дожидайся,— иронизировал ерш.

Ерш спорил отрывисто и неспокойно. Это рыба нервная, ко-

---

[1] **Предводитель дворянства** — выборный представитель дворянства уезда или губернии, защищавший интересы своего сословия в правительственных учреждениях.

[2] **Гармония.**— Этим словом социалисты-утописты обозначали будущий идеальный социальный строй.

торая, по-видимому, помнит нимало обид. Накипело у ней на сердце... ах, накипело! До ненависти покуда еще не дошло, но веры и наивности уж и в помине нет. Вместо мирного жития она повсюду распрю видит; вместо прогресса — всеобщую одичалость. И утверждает, что тот, кто имеет претензию жить, должен всё это в расчет принимать. Карася же считает «блаженненьким», хотя в то же время сознает, что с ним только и можно «душу отводить».

— И дождусь! — отзывался карась: — и не я один, все дождутся. Тьма, в которой мы плаваем, есть порождение горькой исторической случайности; но так как ныне благодаря новейшим исследованиям можно эту случайность по косточкам разобрать, то и причины, ее породившие, нельзя уже считать неустранимыми. Тьма — совершившийся факт, а свет — чаемое будущее. И будет свет, будет!

— Значит, и такое, по-твоему, время придет, когда и щук не будет?

— Каких таких щук? — удивился карась, который был до того наивен, что когда при нем говорили: на то щука в море, чтоб карась не дремал, то он думал, что это что-нибудь вроде тех никс[1] и русалок, которыми малых детей пугают, и, разумеется, ни крошечки не боялся.

— Ах, фофан ты, фофан! Мировые задачи разрешать хочешь, а о щуках понятия не имеешь!

Ерш презрительно пошевеливал плавательными перьями и уплывал во-свояси; но спустя малое время собеседники опять где-нибудь в укромном месте сплывались (в воде-то скучно) и опять начинали диспутировать.

— В жизни первенствующую роль добро играет,— разглагольствовал карась: — зло — это та́к, по недоразумению допущено, а главная жизненная сила всё-таки в добре замыкается.

— Держи карман!

— Ах, ерш, какие ты несообразные выражения употребляешь! «Держи карман!» разве это ответ?

— Да тебе, по-настоящему, и совсем отвечать не следует. Глупый ты — вот тебе и сказ весь!

— Нет, ты послушай, что́ я тебе скажу. Что зло никогда не было зиждущей силой — об этом и история свидетельствует. Зло душило, давило, опустошало, предавало мечу и огню, а зиждущею силой являлось только добро. Оно устремлялось на помощь угнетенным, оно освобождало от цепей и оков, оно пробуждало в сердцах плодотворные чувства, оно давало ход парениям ума. Не будь этого воистину зиждущего фактора жизни, не было бы и истории. Потому что ведь, в сущности, что́ такое история? История — это повесть освобождения, это рассказ о торжестве добра и разума над злом и безумием.

[1] **Никсы** — в немецких сказках то же, что в русских русалки.

— А ты, видно, доподлинно знаешь, что зло и безумие посрамлены? — подтрунивал ерш.

— Не посрамлены еще, но будут посрамлены — это я тебе верно говорю. И опять-таки сошлюсь на историю. Сравни, что́ некогда было, с тем, что́ есть,— и ты без труда согласишься, что не только внешние приемы зла смягчились, но и самая сумма его приметно уменьшилась. Возьми хоть бы нашу рыбную породу. Прежде нас во всякое время ловили, и преимущественно во время «хода», когда мы, как одурелые, сами прямо в сеть лезем, а нынче именно во время «хода»-то и признается вредным нас ловить. Прежде нас, можно сказать, самыми варварскими способами истребляли — в Урале, сказывают, во время багренья, вода на многие версты от рыбьей крови красная стояла, а нынче — шабаш. Неводы да верши, да уды — больше чтобы ни-ни! Да и об этом еще в комитетах рассуждают: какие неводы? по какому случаю? на какой предмет?

— А тебе, видно, не всё равно, каким способом в уху попасть?

— В какую такую уху? — удивлялся карась.

— Ах, прах тебя побери! Карасем зовется, а об ухе не слыхал! Какое же ты после этого право со мной разговаривать имеешь? Ведь, чтобы споры вести и мнения отстаивать, надо, по малой мере, с обстоятельствами дела наперед познакомиться. О чем же ты разговариваешь, коли даже такой простой истины не знаешь: что каждому карасю впереди уготована уха? Брысь... заколю!

Ерш ощетинивался, а карась быстро, насколько позволяла его неуклюжесть, опускался на дно. Но через сутки друзья-противники опять сплывались и новый разговор затевали.

— Намеднись в нашу за́водь щука заглядывала,— объявлял ерш.

— Та самая, о которой ты намеднись упоминал?

— Она. Приплыла, заглянула, молвила: чтой-то будто уж слишком здесь тихо! должно быть, тут карасям вод?.. И с этим уплыла.

— Что́ же мне теперича делать?

— Изготовляться — только и всего. Ужо́, как приплывет она да уставится в тебя глазищами, ты чешую-то да перья подбери поплотнее, да прямо и полезай ей в хайло́!

— Зачем же я полезу? Кабы я был в чем-нибудь виноват...

— Глуп ты — вот в чем твоя вина. Да и жирен вдобавок. А глупому да жирному и закон повелевает щуке в хайло́ лезть!

— Не может такого закона быть! — искренне возмущался карась.— И щука зря не имеет права глотать, а должна прежде объяснения потребовать. Вот я с ней объяснюсь, всю правду выложу. Правдой-то я ее до седьмого пота прошибу.

— Говорил я тебе, что ты фофан, и теперь то же самое повторю: фофан! фофан! фофан!

Ерш окончательно сердился и давал себе слово на будущее время воздерживаться от всякого общения с карасем. Но через несколько дней, смотришь, привычка опять взяла свое.

— Вот кабы все рыбы между собой согласились...— загадочно начинал карась.

Но тут уж и самого ерша брала оторопь. О чем это фофан речь заводит? — думалось ему: — того гляди, проврется, а тут головель неподалеку похаживает. Ишь, и глаза в сторону, словно не его дело, скосил, а сам знай, прислушивается.

— А ты не всякое слово выговаривай, какое тебе на ум взбредет! — убеждал он карася: — не для чего пасть-то разевать: можно и шепотком, что́ нужно, сказать.

— Не хочу я шептаться,— продолжал карась невозмутимо: — а говорю прямо, что ежели бы все рыбы между собой согласились, тогда...

Но тут ерш грубо прерывал своего друга.

— С тобой, видно, гороху наевшись, говорить надо! — кричал он на карася и, навостривши лыжи, уплывал от него восвояси.

И досадно ему да и жалко карася было. Хоть и глуп он, а всё-таки с ним одним по душе поговорить можно. Не разболтает он, не продаст — в ком нынче качества-то эти сыщешь? Слабое нынче время, такое время, что на отца с матерью надеяться нельзя. Вот плотва, хоть и нельзя об ней прямо что-нибудь худое сказать, а всё-таки, того гляди, не понимаючи, сболтнет! А об головлях, язях, линях и прочей челяди и говорить нечего! За червяка присягу под колоколами[1] принять готовы! Бедный карась! ни за грош он между ними пропадет!

— Посмотри ты на себя,— говорил он карасю: — ну, какую ты, неровён час, оборону из себя представить можешь? Брюхо у тебя большое, голова малая, на выдумки негораздая, рот — чутошный. Даже чешуя на тебе — и та не серьезная. Ни проворства в тебе, ни юркости — как есть увалень! Всякий, кто хочет, подойди к тебе и ешь!

— Да за что́ ж меня есть, коли я не провинился? — по-прежнему упорствовал карась.

— Слушай, дурья порода! Едят-то разве «за что́»? Разве потому едят, что казнить хотят? Едят потому, что есть хочется — только и всего. И ты, чай, ешь. Не попусту носом-то в иле роешься, а ракушек вылавливаешь. Им, ракушкам, жить хочется, а ты, простофиля, ими мамон[2] с утра до вечера набиваешь. Сказывай: какую такую они вину перед тобой сделали, что ты их ежеминутно казнишь? Помнишь, как ты намеднись говорил: вот кабы все рыбы между собой согласились... А что́, если бы ракуш-

[1] Присяга под колоколами.— Встарину присяга, принимаемая под звон колоколов, считалась особенно торжественной и обязывающей.

[2] Мамон — здесь в смысле: желудок.

ки между собой согласились — сладко ли бы тебе, простофиле, тогда было?

Вопрос был так прямо и так неприятно поставлен, что карась сконфузился и слегка покраснел.

— Но ракушки — ведь это...— пробормотал он смущенно.

— Ракушки — ракушки, а караси — караси. Ракушками караси лакомятся, а карасями — щуки. И ракушки ни в чем неповинны, и караси не виноваты, а и те, и другие должны ответ держать. Хоть сто лет об этом думай, а ничего другого не выдумаешь.

Спрятался после этих ершовых слов карась в самую глубь тины и стал на досуге думать. Думал, думал и, между прочим, ракушек ел да ел. И что больше ест, то больше хочется. Наконец, однако ж, додумался.

— Я не потому ем ракушек, чтоб они виноваты были — это ты правду сказал,— объяснил он ершу: — а потому я их ем, что они, эти ракушки, самой природой мне для еды предоставлены.

— Кто же тебе это сказал?

— Никто не сказал, а я сам, собственным наблюдением, дошел. У ракушки не душа, а пар; ее ешь, а она и не понимает. Да и устроена она так, что никак невозможно, чтоб ее не проглотить. Потяни рылом воду, ан в зобу у тебя уже видимо-невидимо ракушек кишит. Я и не ловлю их — сами в рот лезут. Ну, а карась — совсем другое. Караси, брат, от десяти вершков бывают,— так с этаким стариком еще поговорить надо, прежде нежели его съесть. Надо, чтобы он серьезную пакость сделал — ну, тогда, конечно...

— Вот как щука проглотит тебя, тогда ты и узнаешь, что́ надо для этого сделать. А до тех пор лучше помалчивал бы.

— Нет, я не стану молчать. Хоть я отроду щук не видывал, но только могу судить по рассказам, что и они к голосу правды не глухи. Помилуй-скажи: может ли такое злодейство статься! Лежит карась, никого не трогает, и вдруг, ни дай, ни вынеси за что́, к щуке в брюхо попадает! Ни в жизнь я этому не поверю.

— Чудак! Да ведь намеднись, на глазах у тебя, моих целых два невода вашего брата из заводи вытащил... Ка́к ты думаешь, любоваться, что ли, он на карасей-то будет?

— Не знаю. Только это еще бабушка надвое сказала, что́ с теми карасями сталось: и́но их съели, и́но в сажалку[1] посадили. И живут они там припеваючи на монастырских хлебах!

— Ну, живи, коли так, и ты, сорвиголова!

Проходили дни за днями, а диспутам карася с ершом и конца было не видать. Место, в котором они жили, было тихое, даже слегка зеленою плесенью подернутое, самое для диспутов благоприятное. О чем ни калякай, какими мечтами ни задавай-

[1] Сажалка — речное судно, приспособленное для сохранения живой рыбы.

ся — безнаказанность полная. Это до такой степени ободрило карася, что он с каждым сеансом всё больше и больше тон своих экскурсий в область эмпиреев[1] повышал.

— Надобно, чтоб рыбы любили друг друга! — ораторствовал он: — чтобы каждая за всех, а все за каждую — вот когда настоящая гармония осуществится!

— Желал бы я знать, ка́к ты с своею любовью к щуке подъедешь! — расхолаживал его ерш.

— Я, брат, подъеду! — стоял на своем карась: — я такие слова знаю, что любая щука в одну минуту от них в карася превратится!

— А ну-тка, скажи!

— Да просто спрошу: знаешь ли, мол, щука что́ такое добродетель и какие обязанности она в отношении к ближним налагает?

— Огорошил, не́чего сказать! А хочешь, я тебе за этот самый вопрос иглой живот проколю?

— Ах, нет! сделай милость, ты этим не шути!

Или:

— Только тогда мы, рыбы, свои права созна́ем, когда нас, с малых лет, в гражданских чувствах воспитывать будут!

— А на кой тебе ляд гражданские чувства понадобились?

— Всё-таки...

— То-то «всё-таки». Гражданские-то чувства только тогда ко двору, когда перед ними простор открыт. А что́ же ты с ними, в тине лежа, делать будешь?

— Не в тине, а вообще...

— Например?

— Например, монах меня в уху́ захочет сварить, а я ему скажу: не имеешь, отче, права без суда такому ужасному наказанию меня подвергать!

— А он тебя, за грубость, на сковороду, либо в золу в горячую... Нет, друг, в тине жить, так не гражданские, а остолопьи чувства надо иметь — вот это верно. Схоронился где погуще и молчи, остолоп!

Или еще:

— Рыбы не должны рыбами питаться,— бредил наяву карась.— Для рыбьего продовольствия и без того природа многое множество вкусных блюд уготовала. Ракушки, мухи, черви, пауки, водяные блохи; наконец, раки, змеи, лягушки. И всё это добро, всё на потребу.

— А для щук на потребу караси,— отрезвлял его ерш.

— Нет, карась сам себе довлеет[2]. Ежели природа ему не дала оборонительных средств, как тебе, например, то это значит,

[1] Эмпиреи — здесь в смысле: мечты, оторванные от реальной действительности.

[2] Сам себе довлеет — обладает собственным, самостоятельным значением.

что надо особливый закон, в видах обеспечения его личности, издать!

— А ежели тот закон исполняться не будет?

— Тогда надо внушение распубликовать: лучше, дескать, совсем законов не издавать, ежели оные не исполнять.

— И ладно будет?

— Полагаю, что многие устыдятся.

Повторяю: дни проходили за днями, а карась всё бредил. Другому за это хоть щелчок бы в нос дали, а ему — ничего. И растабарывал бы он таким родом аридовы веки, если бы хоть крошечку поостерегся. Но он так уж о себе возмечтал, что совсем из расчета вышел. Припускал да припускал, как вдруг к нему головель с повесткой: назавтра, дескать, щука изволит в заводь прибыть, так ты, карась, смотри! чуть-свет ответ держать явись!

Карась, однако ж, не оробел. Во-первых, он столько разнообразных отзывов о щуке слышал, что и сам познакомиться с ней любопытствовал; а во-вторых, он знал, что у него такое магическое слово есть, которое, ежели его сказать, сейчас самую лютую щуку в карася превратит. И очень на это слово надеялся.

Даже ерш, видя такую его веру, задумался, не слишком ли он уже далеко зашел в отрицательном направлении. Может быть, и в самом деле щука только того и ждет, чтобы ее полюбили, благой совет ей дали, ум и сердце ее просветили? Может быть, она... добрая? Да и карась, пожалуй, совсем не такой простофиля, каким по наружности кажется, а, напротив того, с расчетцем свою карьеру облаживает? Вот завтра явится он к щуке да прямо и ляпнет ей самую сущую правду, какой она отроду ни от кого не слыхивала. А щука возьмет да и скажет: за то, что ты мне, карась, самую сущую правду сказал, жалую тебя этой заводью; будь ты над нею начальник!

Приплыла наутро щука, как пить дала. Смотрит на нее карась и дивится: каких ему про щуку сплёток ни наплели, а она — рыба как рыба! Только рот до ушей да хайло́ такое, что как раз ему, карасю, пролезть.

— Слышала я,— молвила щука: — что очень ты, карась, умен и разглагольствовать мастер. Хочу я с тобой диспут иметь. Начинай.

— Об счастии я больше думаю,— скромно, но с достоинством ответил карась.— Чтобы не я один, а все были бы счастливы. Чтобы всем рыбам во всякой воде свободно плавать было, а ежели которая в тину спрятаться захочет, то и в тине пускай полежит.

— Гм... и ты думаешь, что такому делу статься возможно?

— Не только думаю, но и всечасно сего ожидаю.

— Например: плыву я, а рядом со мною... карась?

— Так что́ же такое?

— В первый раз слышу. А ежели я обернусь да карася-то... съем?

— Такого закона, ваше высокостепенство, нет; закон говорит прямо: ракушки, комары, мухи и мошки да послужат для рыб пропитанием. А кроме того, позднейшими разными указами к пище сопричислены: водяные блохи, пауки, черви, жуки, лягушки, раки и прочие водяные обыватели. Но не рыбы.

— Маловато для меня. Головель! неужто такой закон есть? — обратилась щука к головлю.

— В забвении, ваше высокостепенство! — ловко вывернулся головель.

— Я так и знала, что не можно такому закону быть. Ну, а еще ты чего всечасно, карась, ожидаешь?

— А еще ожидаю, что справедливость восторжествует. Сильные не будут теснить слабых, богатые — бедных. Что объявится такое общее дело, в котором все рыбы свой интерес будут иметь и каждая свою долю делать будет. Ты, щука, всех сильнее и ловче — ты и дело на себя посильнее возьмешь; а мне, карасю, по моим скромным способностям, и дело скромное укажут. Всякий для всех, и все для всякого — вот как будет. Когда мы друг за дружку стоять будем, тогда и подкузьмить нас никто не сможет. Невод-то еще где покажется, а уж мы драло! Кто под камень, кто на самое дно в ил, кто в нору или под корягу. Уху-то, пожалуй что, видно, бросить придется!

— Не знаю. Не очень-то любят люди бросать то, что им вкусным кажется. Ну, да это еще когда-то будет. А вот что́: так, значит, по-твоему, и я работать буду должна?

— Как прочие, так и ты.

— В первый раз слышу. Поди, проспись!

Проспался ли, нет ли карась, но ума у него, во всяком случае, не прибавилось. В полдень опять он явился на диспут, и не только без всякой робости, но даже против прежнего веселее.

— Так ты полагаешь, что я работать стану, и ты от моих трудов лакомиться будешь? — прямо поставила вопрос щука.

— Все друг от дружки... от общих, взаимных трудов...

— Понимаю: «друг от дружки»... а между прочим, и от меня... гм! Думается, однако ж, что ты это зазорные речи говоришь. Головель! Ка́к, по-нынешнему, такие речи называются?

— Сицилизмом, ваше высокостепенство!

— Так я и знала. Давненько я уж слышу: бунтовские, мол, речи карась говорит. Только думаю: дай, лучше сама послушаю... Ан вон ты какоз!

Молвивши это, щука так выразительно щелкнула по воде хвостом, что как ни прост был карась, но и он догадался.

— Я, ваше высокостепенство, ничего,— пробормотал он в смущении: — это я по простоте...

— Ладно. Простота хуже воровства, говорят. Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут. Наговорили мне о тебе

с три короба, а ты — карась как карась,— только и всего. И пяти минут я с тобой не разговариваю, а уж до смерти ты мне надоел.

Щука задумалась и как-то так загадочно на карася посмотрела, что он уж и совсем понял. Но, должно быть, она еще после вчерашнего обжорства сыта была и потому зевнула и сейчас же захрапела.

Но на этот раз карасю уж не так благополучно обошлось. Как только щука умолкла, его со всех сторон обступили головли и взяли под караул.

Вечером, еще не успело солнышко сесть, как карась в третий раз явился к щуке на диспут. Но явился уже под стражей и притом с некоторыми повреждениями. А именно: окунь, допрашивая, покусал ему спину и часть хвоста.

Но он всё еще бодрился, потому что в запасе у него было магическое слово.

— Хоть ты мне и супротивник,— начала опять первая щука: — да, видно, горе мое такое: смерть диспуты люблю! Будь здоров, начинай!

При этих словах карась вдруг почувствовал, что сердце в нем загорелось. В одно мгновение он подобрал живот, затрепыхался, защелкал по воде остатками хвоста и, глядя щуке прямо в глаза, во всю мочь гаркнул:

— Знаешь ли ты, что́ такое добродетель?

Щука разинула рот от удивления. Машинально потянула она воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его.

Рыбы, бывшие свидетельницами этого происшествия, на мгновенье остолбенели, но сейчас же опомнились и поспешили к щуке узнать, благополучно ли она поужинать изволила, не подавилась ли. А ерш, который уж заранее всё предвидел и предсказал, выплыл вперед и торжественно провозгласил:

— Вот они, диспуты-то наши, каковы!

ВЕРНЫЙ ТРЕЗОР

Служил Трезорка сторожем при лабазе московского 2-й гильдии купца[1] Воротилова и недреманным оком хозяйское добро сторожил. Никогда от конуры не отлучался; даже Живодерки, на которой лабаз стоял, настоящим образом не видал; с утра до вечера так на цепи и скачет, так и заливается! Gaveant consules[2].

---

[1] 2-й гильдии купец.— Купечество делилось на три разряда (гильдии), в зависимости от величины торговых оборотов.

[2] Gaveant consules! — Да будут бдительны консулы! (древнеримская формула).

И премудрый был, никогда на своих не лаял, а всё на чужих. Пройдет, бывало, хозяйский кучер овес воровать — Трезорка хвостом машет, думает: много ли кучеру нужно! А случится прохожему по своему делу мимо двора идти — Трезорка еще где заслышит: ах, батюшки, воры!

Видел купец Воротилов Трезоркину услугу и говорил: цены этому псу нет! И ежели случалось в лабаз мимо собачьей конуры проходить, непременно скажет: дайте Трезорке помоев! А Трезорка из кожи от восторга лезет: рады стараться, ваше степенство!.. хам-ам! почивайте, ваше степенство, спокойно... хам... ам... ам... ам!

Однажды даже такой случай был: сам частный пристав к купцу Воротилову на двор пожаловал — так и на него Трезорка воззрился. Такой содом поднял, что и хозяин, и хозяйка, и дети — все выбежали. Думали, грабят; смотрят — ан гость дорогой!

— Вашескородие! милости просим! Цыц, Трезорка! Ты это что́, мерзавец? не узнал? а? Вашескородие! водочки! закусить-с.

— Благодарю. Прекраснейший у вас пёсик, Никанор Семеныч! благонамеренный!

— Такой пес! такой пес! Другому человеку так не понять, как он понимает!

— Собственность, значит, признает; а это, по нынешнему времени, ах как приятно!

И затем, обернувшись к Трезорке, присовокупил:

— Лай, мой друг, лай! Нынче и человек, ежели который с отличной стороны себя зарекомендовать хочет,— и тот по-песьему лаять обязывается!

Три раза Воротилов Трезорку искушал, прежде чем вполне свое имущество доверил ему. Нарядился вором (удивительно, как к нему этот костюм шел!), выбрал ночь потемнее и пошел в амбар воровать. В первый раз корочку хлебца с собой взял,— думал этим его соблазнить,— а Трезорка корочку обнюхал, да как вцепится ему в икру! Во второй раз целую колбасу Трезорке бросил: пиль, Трезорушка, пиль! — а Трезорка ему фалду оторвал. В третий раз взял с собой рублевую бумажку замасленную — думал, на деньги пес пойдет; а Трезорка, не будь прост, такого трезвону поднял, что со всего квартала собаки сбежались: стоят да дивуются, с чего это хозяйский пес на своего хозяина заливается?

Тогда купец Воротилов собрал домочадцев и при всех сказал Трезорке:

— Препоручаю тебе, Трезорка, все мои потроха: и жену, и детей, и имущество — стереги! Принесите Трезорке помоев!

Понял ли Трезорка хозяйскую похвалу, или уж сам собой, в силу собачьей природы, лай из него словно из пустой бочки валил — только совсем он с тех пор иссобачился. Одним глазом спит, а другим глядит, не лезет ли кто в подворотню; скакать устанет — ляжет, а цепью всё-таки погромыхивает: вот он я! Накор-

мить его позабудут — он даже очень рад: ежели, дескать, каждый-то день пса кормить, так он, чего доброго, в одну неделю разопсеет! Пинками его челядинцы наделят — он и в этом полезное предостережение видит, потому что, ежели пса не бить, он и хозяина, того гляди, позабудет.

— Надо с нами, со псами, сурьезно поступать,— рассуждал он: — и за дело бей, и без дела бей — вперед наука! Тогда только мы, псы, настоящими псами будем!

Одним словом, был пес с принципами и так высоко держал свое знамя, что прочие псы поглядят-поглядят, да и подожмут хвост — куды тебе!

Уж на что Трезорка детей любил, однако и на их искушения не сдавался. Подойдут к нему хозяйские дети:

— Пойдем, Трезорушка, с нами гулять!

— Не могу.

— Не смеешь?

— Не то что не смею, а права не имею.

— Пойдем, глупый! мы тебя потихоньку... никто и не увидит!

— А совесть?

Подожмет Трезорка хвост и спрячется в конуру, от соблазна подальше.

Сколько раз и воры сговаривались: поднесемте Трезорке альбом с видами Замоскворечья; но он и на это не польстился.

— Не требуется мне никаких видов,— сказал он: — на этом дворе я родился, на нем же и старые кости сложу — каких еще видов нужно! Уйдите до греха!

Одна за Трезоркой слабость была: Кутьку крепко любил, но и то не всегда, а временно.

Кутька на том же дворе жила и тоже была собака добрая, но только без принципов. Полает и перестанет. Поэтому ее на цепи не держали, а жила она больше при хозяйской кухне и около хозяйских детей вертелась. Много она на своем веку сладких кусков съела и никогда с Трезоркой не поделилась; но Трезорка нимало за это на нее не претендовал: на то она и дама, чтобы сладенько поесть! Но когда Кутькино сердце начинало говорить, то она потихоньку взвизгивала и скреблась лапой в кухонную дверь. Заслышав эти тихие всхлипывания, Трезорка, с своей стороны, поднимал такой неистовый и, так сказать, характерный вой, что хозяин, понимая его значение, сам спешил на выручку своего имущества. Трезорку спускали с цепи и на место его сажали дворника Никиту. А Трезорка с Кутькой, взволнованные, счастливые, убегали к Серпуховским воротам.

В эти дни купец Воротилов делался зол, так что когда Трезорка возвращался утром из экскурсии, то хозяин бил его арапником нещадно. И Трезорка, очевидно, сознавал свою вину, потому что не подбегал к хозяину гоголем, как это делают исполнившие свой долг чиновники, а униженно и поджавши хвост подползал к ногам его; и не выл от боли под ударами арапника, а потихоньку взвиз-

гивал: mea culpa! mea maxima culpa! [1] В сущности он был слишком умен, чтобы не понимать, что, поступая таким образом, хозяин упускал из вида некоторые смягчающие обстоятельства; но в то же время, рассуждая логически, он приходил к заключению, что ежели. его в таких случаях не бить, то непременно он разопсеет.

Но что́ было особенно в Трезорке дорого, так это совершенное отсутствие честолюбия. Неизвестно; имел ли он даже понятие о праздниках и о том, что к праздникам купцы имеют обыкновение дарить верных своих слуг. Никаноры ли («сам» именинник), Анфисы ли («сама» именинница) на дворе — он всё равно, что в будни, на цепи скачет!

— Да замолчи ты, постылый! — крикнет на него Анфиса Карповна: — знаешь ли, какой сегодня день!

— Ничего, пусть лает! — пошутит в ответ Никанор Семеныч: — это он с ангелом поздравляет! Лай, Трезорушка, лай!

Только раз в нем проснулось что-то вроде честолюбия — это когда бодливой хозяйской корове Рохле, по требованию городского пастуха, колокол на шею привесили. Признаться сказать, позавидовал-таки он, когда она пошла по двору звонить.

— Вот тебе счастье какое; а за что́? — сказал он Рохле с горечью: — только твоей и заслуги, что молока полведра в день из тебя надоят, а по-настоящему, какая же это заслуга! Молоко у тебя даровое, от тебя не зависящее: хорошо тебя кормят — ты много молока даешь; плохо кормят — и молоко перестанешь давать. Копыта об копыто ты не ударишь, чтоб хозяину заслужить, а вот тебя как награждают! А я вот сам от себя, motu proprio [2], день и ночь маюсь, не доем, не досплю, и инда осип от беспокойства,— а мне хоть бы гремушку кинули! Вот, дескать, Трезорка, знай, что услугу твою видят!

— А цепь-то? — нашлась Рохля в ответ.

— Цепь?!

Тут только он понял. До тех пор он думал, что цепь есть цепь, а оказалось, что это нечто вроде как масонский знак [3]. Что он, стало быть, награжден уже изначала, награжден еще в то время, когда ничего не заслужил. И что отныне ему следует только об одном мечтать: чтоб старую, проржавленную цепь (он ее однажды уже порвал) сняли и купили бы новую, крепкую.

А купец Воротилов точно подслушал его скромночестолюбивое вожделение: под самый Трезоркин праздник купил совсем новую, на диво выкованную цепь и сюрпризом приклепал ее к Трезоркину ошейнику. Лай, Трезорка, лай!

---

[1] Mea culpa! mea maxima culpa! (латин.) — Мой грех! мой тягчайший грех!

[2] Motu proprio (латин.) — по собственному побуждению.

[3] Масоны — возникшее в XVIII веке тайное общество, ставившее своей целью нравственное совершенствование людей. Масоны узнавали друг друга по особым отличительным знакам.

И залился он тем добродушным заливистым лаем, каким лают псы, не отделяющие своего собачьего благополучия от неприкосновенности амбара, к которому определила их хозяйская рука.

В общем Трезорке жилось отлично, хотя, конечно, от времени до времени, не обходилось и без огорчений. В мире псов, точно так же, как и в мире людей, лесть, пронырство и зависть нередко играют роль, вовсе им по праву не принадлежащую. Не раз приходилось и Трезорке испытывать уколы зависти; но он был силен сознанием исполненного долга и ничего не боялся. И это вовсе не было с его стороны самомнением. Напротив, он первый готов был бы уступить честь и место любому новоявленному барбосу, который доказал бы свое первенство в деле непреоборимости. Нередко он даже с тревогою подумывал о том, кто заступит его место в ту минуту, когда старость или смерть положит предел его нестомчивости... Но увы! во всей громадной стае измельчавших и излаявшихся псов, населявших Живодерку, он, по совести, не находил ни одного, на которого мог бы с уверенностью указать: вот мой преемник! Так что когда интрига задумала во что́ бы то ни стало уронить Трезорку в мнении купца Воротилова, то она достигла только одного — и притом совершенно для нее нежелательного — результата, а именно: выказала повальное оскудение псовых талантов.

Не раз завистливые барбосы, и в одиночку, и небольшими стайками, собирались во двор купца Воротилова, садились поодаль и вызывали Трезорку на состязание. Поднимался несосветимый собачий стон, который наводил ужас на всех домочадцев, но к которому хозяин дома прислушивался с любопытством, потому что понимал, что близко время, когда и Трезору понадобится подручный. В этом неистовом хоре выдавались голоса недурные; но такого, от которого внезапно заболел бы живот со страху, не было и в помине. Иной барбос выказывал недюжинные способности, но непременно или перелает, или недолает. Во время таких состязаний Трезорка обыкновенно умолкал, как бы давая противникам возможность высказаться, но под конец не выдерживал и к общему стону, каждая нота которого свидетельствовала об искусственном напряжении, присоединял свой собственный свободный и трезвенный лай. Этот лай сразу устранял все сомнения. Заслышав его, кухарка выбегала из стряпущей и ошпаривала коноводов интриги кипятком. А Трезорке приносила помоев.

Тем не менее купец Воротилов был прав, утверждая, что ничто под луною не вечно. Однажды утром воротиловский приказчик, проходя мимо собачьей конуры в амбар, застал Трезорку спящим. Никогда этого с ним не бывало. Спал ли он когда-нибудь — вероятно, спал,— никто этого не знал, и во всяком случае никто его спящим не заставал. Разумеется, приказчик не замедлил доложить об этом казусе хозяину.

Купец Воротилов сам вышел к Трезорке, взглянул на него и, видя, что он повинно шевелит хвостом, как бы говоря: и сам не

понимаю, как со мной грех случился! — без гнева, полным участия голосом, сказал:

— Что́, старик, на кухню собрался? Стара стала, слаба стала? Ну, ладно! ты и на кухне службу сослужить можешь.

На первый раз, однако ж, решились ограничиться приисканием Трезорке подручного. Задача была нелегкая; тем не менее, после значительных хлопот, успели-таки отыскать у Калужских ворот некоего Арапку, репутация которого установилась уже довольно прочно.

Я не стану описывать, как Арапка первый признал авторитет Трезорки и беспрекословно ему подчинился, как оба они подружились, как Трезорку, с течением времени, окончательно перевели на кухню и как, несмотря на это, он бегал к Арапке и бескорыстно обучал его приемам подлинного купеческого пса... Скажу только одно: ни досуг, ни обилие сладких кусков, ни близость Кутьки не заставили Трезорку позабыть те вдохновенные минуты, которые он проводил, сидючи на цепи и дрожа от холода в длинные зимние ночи.

Время, однако ж, шло, и Трезорка всё больше и больше старился. На шее у него образовался зоб, который пригибал его голову к земле, так что он с трудом вставал на ноги; глаза почти не видели; уши висели неподвижно; шерсть свалялась и линяла клочьями; аппетит исчез, а постоянно ощущаемый холод заставлял бедного пса жаться к печке.

— Воля ваша, Никанор Семеныч, а Трезорка начал паршиветь,— доложила однажды купцу Воротилову кухарка.

На этот раз, однако, купец Воротилов не сказал ни слова. Тем не менее кухарка не унялась и через неделю опять доложила:

— Как бы дети около Трезорки не испортились... Опаршивел он вовсе.

Но и на этот раз Воротилов промолчал. Тогда кухарка через два дня вбежала уже совсем обозленная и объявила, что она ни минуты не останется, ежели Трезорку из кухни не уберут. И так как кухарка мастерски готовила поросенка с кашей, а Воротилов безумно это блюдо любил, то участь Трезоркина была решена.

— Не к тому я Трезорку готовил,— сказал купец Воротилов с чувством: — да, видно, правду пословица говорит: собаке — собачья и смерть... Утопить Трезорку!

И вот вывели Трезорку во двор. Вся челядь высыпала, чтоб посмотреть на предсмертную агонию верного пса; даже хозяйские дети окно обсыпали. Арапка был тут же и, увидев старого учителя, приветливо замахал хвостом. Трезорка от старости еле передвигал ногами и, по-видимому, не понимал; но когда начал приближаться к воротам, то силы оставили его и надо было его тащить во́локом за загривок.

Что́ затем произошло — об этом история умалчивает, но назад Трезорка уж не возвратился.

А вскоре Арапка и совсем изгнал Трезоркин образ из сердца купца Воротилова.

СОСЕДИ

В некотором селе жили два соседа: Иван Богатый да Иван Бедный. Богатого величали «сударем» и «Семенычем», а бедного — просто Иваном, а иногда и Ивашкой. Оба были хорошие люди, а Иван Богатый — даже отличный. Как есть во всей форме филантроп [1]. Сам ценностей не производил, но о распределении богатств очень благородно мыслил. «Это, говорит, с моей стороны лепта [2]. Другой, говорит, и ценностей не производит, да и мыслит неблагородно — это уж свинство. А я еще ничего». А Иван Бедный о распределении богатств совсем не мыслил (недосужно ему было), но, взамен того, производил ценности. И тоже говорил: это с моей стороны лепта.

Сойдутся они вечером под праздник, когда и бедным, и богатым — всем досужно, сядут на лавочку перед хоромами Ивана Богатого и начнут калякать.

— У тебя завтра с чем щи? — спросит Иван Богатый.

— С пу́стом,— ответит Иван Бедный.

— А у меня с убоиной [3].

Зевнет Иван Богатый, рот перекрестит, взглянет на Бедного Ивана, и жаль ему станет.

— Чудно́ на свете деется,— молвит он: — который человек постоянно в трудах находится, у того по праздникам пустые щи на столе; а который при полезном досуге состоит — у того и в будни щи с убоиной. С чего бы это?

— И я давно думаю: с чего бы это? да недосуг раздумывать-то мне. Только начну думать, ан в лес за дровами ехать надобно; привез дров — смотришь, навоз возить или с сохой выезжать пора пришла. Так, между делом, мысли-то и уходят.

— Надо бы, однако, нам это дело рассудить.

— И я говорю: надо бы.

Зевнет и Иван Бедный с своей стороны, перекрестит рот, пойдет спать и во сне завтрашние пустые щи видит. А на другой день проснется — смотрит, Иван Богатый сюрприз ему приготовил: убоины, ради праздника, во́ щи прислал.

В следующий предпраздничный канун опять сойдутся соседи и опять за старую материю примутся.

— Веришь ли,— молвит Иван Богатый: — и наяву, и во сне только одно я и вижу: сколь много ты против меня обижен!

— И на этом спасибо,— ответит Иван Бедный.

— Хоть и я благородными мыслями немалую пользу обществу приношу, однако, ведь ты... не выйди-ка ты во́-время с сохой — пожалуй, и без хлеба пришлось бы насидеться. Так ли я говорю?

---

[1] Филантроп — благотворитель. Благотворительность — лицемерная, унизительная «помощь бедным» со стороны богатых.

[2] Лепта — маленький вклад или пожертвование.

[3] Убоина — мясо.

— Это так точно. Только не выехать-то мне нельзя, потому что в этом случае я первый с голоду пропаду.

— Правда твоя: хитро эта механика устроена. Однако ты не думай, что я ее одобряю,— ни боже мой! Я только об одном и тужу: господи! как бы так сделать, чтобы Ивану Бедному хорошо было?! Чтоб и я — свою порцию, и он — свою порцию.

— И на этом, сударь, спасибо, что беспокоитесь. Это, действительно, что кабы не добродетель ваша — сидеть бы мне праздник на тюре[1] на одной...

— Что ты! что ты! разве я об этом! Ты об этом забудь, а я вот об чем. Сколько раз я решался: пойду, мол, и отдам пол-имения нищим! И отдавал. И что же! Сегодня я отдал пол-имения, а назавтра проснусь — у меня, вместо убылой-то половины, целых три четверти опять объявилось.

— Значит, с процентом...

— Ничего, братец, не поделаешь. Я — от денег, а деньги — ко мне. Я бедному пригоршню, а мне, вместо одной-то, неведомо откуда, две. Вот ведь чудо какое!

Наговорятся и начнут позевывать. А между разговором Иван Богатый всё-таки думу думает: что́ бы такое сделать, чтобы завтра у Ивана Бедного щи с убоиной были? Думает, думает, да и выдумает.

— Слушай-ка, миляга! — скажет: — теперь уж недолго и до́ ночи осталось, сходи-ка ко мне в огород грядку вскопать. Ты шутя часок лопатой поковыряешь, а я тебя, по силе возможности, награжу,— словно бы ты и взаправду работал.

И действительно, поиграет лопатой Иван Бедный часок-другой, а завтра он с праздником, словно бы и «взаправду поработал».

Долго ли, коротко́ ли соседи таким манером калякали, только под конец так у Ивана Богатого сердце раскипелось, что и взаправду невтерпёж ему стало.— Пойду, говорит, к самому На́большему, паду перед ним и скажу: «Ты у нас око царево! ты здесь решишь и вяжешь, караешь и милуешь! Повели нас с Иваном Бедным в одну вёрсту поверстать[2]. Чтобы с него рекрут — и с меня рекрут, с него подвода — и с меня подвода, с его десятины грош — и с моей десятины грош. А души чтобы и его, и моя от акциза[3] одинаково свободны были!»

И как сказал, так и сделал. Пришел к На́большему, пал перед ним и объяснил свое горе. И На́больший за это Ивана Богатого похвалил. Сказал ему: «Исполать тебе, добру молодцу, за то, что соседа своего, Ивашку Бедного, не забываешь. Нет для начальства приятнее, как ежели государевы подданные в добром согласии и во взаимном радении живут, и нет того зла злее, как ежели они в сваре, в ненависти и в доносах друг на дружку время проводят!»

---

[1] Тюря — хлеб, накрошенный в квасе.
[2] В одну вёрсту поверстать — сравнять.
[3] Акциз — вид налога.

Сказал это На́больший и, на свой страх, повелел своим помощникам, чтобы, в виде опыта, обоим Иванам суд равный был и дани разные, а того бы, как прежде было: один тяготы несет, а другой песенки поет — впредь чтобы не было.

Воротился Иван Богатый в свое село, земли под собой от радости не слышит.

— Вот, друг сердешный,— говорит он Ивану Бедному: — своротил я, по милости начальнической, с души моей камень тяжелый! Теперь уж мне супротив тебя, в виде опыта, никакой льготы не будет. С тебя рекрут — и с меня рекрут, с тебя подвода — и с меня подвода, с твоей десятины грош — и с моей грош. Не успеешь и ты оглянуться, как у тебя от одной этой поровёнки[1] во щах ежедень[2] убоина будет!

Сказал это Иван Богатый, а сам, в надежде славы и добра[3], уехал на теплые воды[4], где года два сряду и находился при полезном досуге.

Был в Вестфалии — ел вестфальскую ветчину; был в Страсбурге — ел страсбургские пироги[5], в Бордо был — пил бордосское вино; наконец, приехал в Париж — всё вообще пил и ел. Словом сказать, так весело прожил, что насилу ноги унес. И всё время об Иване Бедном думал: то-то он теперь, после поровёнки-то, за обе щеки уписывает!

А Иван Бедный между тем в трудах жил. Сегодня вспашет полосу, а завтра заборонует; сегодня скосит осьминник[6], а завтра, коли бог вёдрушко даст, сено сушить принимается. В кабак и дорогу позабыл, потому знает, что кабак — это погибель его. И супруга его, Марья Ивановна, заодно с ним трудится: и жнет, и боронует, и сено трясет, и дрова колет. И детушки у них подросли — и те так и рвутся хоть с эстолько поработать. Словом сказать, вся семья с утра до ночи словно в котле кипит, и всё-таки пустые щи не сходят у нее со стола. А с тех пор, как Иван Богатый из села уехал, так даже и по праздникам сюрпризов Иван Бедный не видит.

— Незадача нам,— говорит бедняга жене: — вот и сравняли меня, в виде опыта, в тягостях с Иваном Богатым, а мы всё при прежнем интересе находимся. Живем богато, со двора покато; чего ни хватись, за всем в люди покатись.

Так и ахнул Иван Богатый, как увидел соседа в прежней бедности. Признаться сказать, первою его мыслью было, что Ивашка в кабак прибытки свои таскает. «Неужели он так закоренел? неужели он неисправим?» — восклицал он в глубоком огорчении.

---

[1] Поровёнка — установление равенства.

[2] Ежедень — ежедневно.

[3] В надежде славы и добра — первая строка стихотворения Пушкина «Стансы».

[4] Теплые воды — курорты с источниками теплой минеральной воды.

[5] Страсбургский пирог — паштет из гусиных печенок.

[6] Осьминник — старинная мера земли (около четверти гектара).

Однако Ивану Бедному не стоило никакого труда доказать, что у него не только на вино, но и на соль не всегда прибытков достаточно. А что он не мот, не расточитель, а хозяин радетельный, так и тому доказательства были налицо. Показал Иван Бедный свой хозяйственный инвентарь, и всё оказалось в целости, в том самом виде, в каком было до отъезда богатого соседа на теплые воды. Лошадь гнедая покалеченная — 1; корова бурая, с подпалиной — 1; овца — 1; телега, соха, борона. Даже старые дровнишки — и те прислонены к забору стоят, хотя, по летнему времени, надобности в них нет и, стало быть, можно было бы, без ущерба для хозяйства, их в кабаке заложить. Затем осмотрели и избу — и там всё налицо, только с крыши местами солома повыдергана; но и это произошло оттого, что позапрошлой весной кормов недостало, так из прелой соломы резку для скота готовили.

Словом сказать, не оказалось ни единого факта, который обвинял бы Ивана Бедного в разврате или в мотовстве. Это был коренной, задавленный русский мужик, который напрягал все усилия, чтобы осуществить всё свое право на жизнь, но, по какому-то горькому недоразумению, осуществлял его лишь в самой недостаточной степени.

— Господи! да с чего ж это? — тужил Иван Богатый: — вот и поровняли нас с тобой, и права у нас одни, и дани равные платим, и всё-таки пользы для тебя не предвидится — с чего бы?

— Я и сам думаю: с чего бы? — уныло откликнулся Иван Бедный.

Стал Иван Богатый умом раскидывать и, разумеется, нашел причину. Оттого, мол, так выходит, что у нас нет ни общественного, ни частного почина. Общество — равнодушное; частные люди — всякий об себе промышляет; правители же хоть и напрягают силы, но вотще. Стало быть, прежде всего надо общество подбодрить.

Сказано — сделано. Собрал Иван Семеныч Богатый на селе сходку и в присутствии всех домохозяев произнес блестящую речь о пользе общественного и частного почина... Говорил пространно, рассыпчато и вразумительно, словно бисер перед свиньями метал; доказывал примерами, что только те общества представляют залог преуспеяния и живучести, кои сами о себе промыслить умеют; те же, кои предоставляют событиям совершаться помимо общественного участия, те сами себя заранье обрекают на постепенное вымирание и конечную погибель. Словом сказать, всё, что́ в Азбуке-Копейке вычитал, всё так и выложил перед слушателями.

Результат превзошел все ожидания. Посадские люди не только прозрели, но и прониклись самосознанием. Никогда не испытывали они такого горячего наплыва разнообразнейших ощущений. Казалось, к ним внезапно подкралась давно желанная, но почему-то и где-то задерживавшаяся жизненная волна, которая высоко-высоко подняла на себе этот темный люд. Толпа ликовала, наслаждалась своим прозрением; Ивана Богатого чествовали, назы-

вали героем. И в заключение единогласно постановили приговор: 1) кабак закрыть навсегда; 2) положить основание самопомощи, учредив Общество Доброхотной Копейки.

В тот же день, по числу приписанных к селу душ, в кассу общества поступило две тысячи двадцать три копейки, а Иван Богатый, сверх того, пожертвовал неимущим сто экземпляров Азбуки-Копейки, сказав: читайте, други! тут всё есть, что для вас нужно!

Опять уехал Иван Богатый на теплые воды, и опять остался Иван Бедный при полезных трудах, которые на сей раз, благодаря новым условиям самопомощи и содействию Азбуки-Копейки, несомненно должны были принести плод сторицею.

Прошел год, прошел другой. Ел ли в течение этого времени Иван Богатый в Вестфалии вестфальскую ветчину, а в Страсбурге — страсбургские пироги, достоверно сказать не умею. Но знаю, что когда он, по окончании срока, воротился домой, то в полном смысле слова обомлел.

Иван Бедный сидел в развалившейся лачуге, худой, отощалый; на столе стояла чашка с тюрей, в которую Марья Ивановна, по случаю праздника, подлила, для запаха, ложку конопляного масла. Детушки обсели кругом стола и торопились есть, как бы опасаясь, чтоб не пришел чужак и не потребовал сиротской доли.

— С чего бы это? — с горечью, почти с безнадежностью, воскликнул Иван Богатый.

— И я говорю: с чего бы это? — по привычке отозвался Иван Бедный.

Опять начались предпраздничные собеседования на лавочке перед хоромами Ивана Богатого; но как ни всесторонне рассматривали собеседники удручавший их вопрос, ничего из этих рассмотрений не вышло. Думал было сначала Иван Богатый, что оттого это происходит, что не дозрели мы; но рассудив, убедился, что есть пирог с начинкою — вовсе не такая трудная наука, чтоб для нее был необходим аттестат зрелости. Попробовал было он поглубже копнуть, но с первого же абцуга [1] такие пугала из глубины повыскакали, что он сейчас же дал себе зарок — никогда ни до чего не докапываться. Наконец, решились на последнее средство: обратиться за разъяснением к местному мудрецу и философу Ивану Простофиле.

Простофиля был коренной сельчанин, колченогий горбун, который по случаю убожества ценностей не производил, а питался тем, что круглый год в кусочки ходил [2]. Но в селе про него говорили, что он умен, как поп Семен, и он вполне оправдывал эту репутацию. Никто лучше его не умел на бобах развести и чудеса в решете показать. Посулит Простофиля красного петуха [3] — глядь, ан петух уж где-нибудь на крыше крыльями хлопает; посулит град с голубиное яйцо — глядь, ан от града с поля уж ополоумев-

[1] С первого же абцуга — с самого начала, сразу же.
[2] В кусочки ходил — нищенствовал, собирал подаяние.
[3] Красный петух — пожар.

шее стадо бежит. Все его боялись, а когда под окном раздавался стук его нищенской клюки, то хозяйка-стряпуха торопилась как можно скорее подать ему лучший кусок.

И на этот раз Простофиля вполне оправдал свою репутацию прозорливца. Как только Иван Богатый изложил пред ним обстоятельства дела и затем предложил вопрос: с чего бы? — Простофиля тотчас же, нимало не задумываясь, ответил:

— Оттого, что в планту так значится.

Иван Бедный, по-видимому, сразу понял Простофилину речь и безнадежно покачал головой. Но Богатый Иван решительно недоумевал.

— Плант такой есть,— пояснил Простофиля, отчетливо произнося каждое слово и как бы наслаждаясь собственным прозорливством: — и в оном планту́ значится: живет Иван Бедный на распутии, а жилище у него не то изба, не то решето дырявое. Вот богачество то и течет всё мимо да скрозь, потому задержки себе не видит. А ты, Богатый Иван, живешь у самого стёка, куда со всех сторон ручьи бегут. Хоромы у тебя просторные, справные, частоколы кругом выведены крепкие. Притекут к твоему жительству ручьи с богачеством — тут и застрянут. И ежели ты, к примеру, вчера пол-имения роздал, то сегодня к тебе на смену целых три четверти привалило. Ты — от денег, а деньги — к тебе. Под какой куст ты ни заглянешь, везде богачество лежит. Вот он каков, этот плант. И сколько вы промеж себя ни калякайте, сколько ни раскидывайте умом — ничего не выдумаете, покуда в оном планту́ так значится.

ЗДРАВОМЫСЛЕННЫЙ ЗАЯЦ

Хоть и обыкновенный это был заяц, а преумный. И так здраво рассуждал, что и ослу впору. Притаится под кустом, чтоб не видать его было, и сам с собой разговаривает.

— Всякому,— говорит,— зверю свое житье предоставлено. Волку — волчье, льву — львиное, зайцу — заячье. Доволен ты или недоволен своим житьем, никто тебя не спрашивает: живи, только и всего. Нашего брата, зайца, например, все едят — кажется, имели бы мы основание на сие претендовать? Однако, ежели рассудить здраво, то едва ли подобная претензия могла бы назваться правильною. Во-первых, кто ест, тот знает, зачем и почему ест; а во-вторых, если бы мы и правильно претендовали, от этого нас есть не перестанут. Сверх препорции всё равно не будут есть, а сколько надо — непременно съедят. Статистические таблицы, при министерстве внутренних дел издаваемые...

На этом заяц обыкновенно засыпал, потому что статистика имела свойство приводить его в беспамятство. Но выспится и опять примется здраво рассуждать.

— Едят нас, едят, а мы, зайцы, что́ год, то больше плодимся. Стало быть, и нам пальца в рот не клади. И летом, и зимой, посмотри на поляну — то и дело, что зайцы вдоль и поперек сигают. Заберемся мы в капустники или в овсы, или около молодых яблонь пристроимся — пожалуй, и от нашего брата солоно мужичку придется. Да, и за нами, за зайцами, глаз да глаз нужен. Недаром статистические таблицы, при министерстве внутренних дел издаваемые...

Новый сон, новые пробуждения, новые здравые мысли. Без конца заяц умную свою канитель разводил; и так прикинет, и этак смекнет — и всё у него хорошо выходило. И что́ всего дороже — ни карьеры он при этом в виду не имел, ни перед начальством оригинальностью взглядов блеснуть не рассчитывал (он знал, что начальство, не выслушавши его, съест), а просто-напросто сам для себя любил солидно, по-заячьи, обо всем рассудить. Дескать,

Неправо о вещах те думают, Шувалов,
Которые стекло чтут ниже минералов...[1]

Вот, мол, у нас как!

Сидел он однажды таким манером под кустиком, да и вздумал перед зайчихой своей здравыми мыслями щегольнуть. Встал на задние ножки, ушки на макушку взбодрил, передними лапками штуки-фигуры выделывает, а языком, слово за словом, точно горох, так и сыплет.

— Нет,— говорит: — мы, зайцы, даже очень хорошо прожить можем. Мы и свадьбы справляем, и хороводы водим, и пиво в престольные праздники варим. Расставим верст на десять сторожей, да и горланим. А волк услышит, да и прибежит: кто песни пел? Ну, тут, натурально, кто куда поспел! Успел улепетнуть — в другом месте пиво вари; не успел — съест тебя волк, как пить даст! И ничего ты с этим не поделаешь. Зайчиха! Правду ли я говорю?

— Коли не врешь, так правду говоришь,— ответила зайчиха, которая уже за десятым мужем за этим зайцем была, и все прежние девятеро у нее на глазах напрасною смертью погибли.

— Подлый народ эти волки — это правду надо сказать. Всё у них только разбой на уме! — продолжал заяц.— Сколько раз я и говорил, и в газетах писал: господа волки! вместо того, чтоб зайца сразу резать, вы бы только шкурку с него содрали — он бы, спустя время, другую вам предоставил! Заяц, хошь он и плодущ, однако, ежели сегодня целый косяк вырезать, да завтра другой косяк — глядь, ан на базаре-то, вместо двугривенного, заяц уж в полтину вскочил! А кабы вы чередо́м пришли: господа, мол, зайцы! не угодно ли на сегодняшнюю волчью трапезу столь-

[1] «Неправо о вещах» и т. д. — цитата из стихотворения Ломоносова «Письмо о пользе стекла».

ко-то десятков штук предоставить? — С удовольствием, господа волки! Эй, староста! гони очередных! — И шло бы у нас всё по закону, как следует. И волки, и зайцы — все бы в надежде были. И мы бы, и вы бы, и с одной стороны, и с другой стороны... ах, господа, господа!

Говорил-говорил заяц и чуть было совсем не зарапортовался, как вдруг услышал, что неподалёчку, в траве, что-то шуршит. Смотрит, ан зайчиха-то его давно стречка дала, а лиса-кляузница легла на брюхо, да и ползет на него, словно поиграть с заинькой собралась.

— Вон ты какой, заяц, умный! — первая заговорила лиса: — Так ты сладко растабарываешь, что век бы я тебя слушала, и всё бы слушать хотелось!

Умен был заяц, а спервоначалу и он обомлел. Стоит на задних лапках, как вкопанный, не то в сторону глазами косит, куда бы стречка дать, не то обдумывает: вот оно, когда пришлось с здравой точки зрения на свое положение взглянуть...

— Голодна, тётенька? — спросил он, стараясь как можно меньше робеть.

— И! что́ ты! господь с тобой! да я пресытёхонька! Разве потом что́ будет, а теперь — и боже меня сохрани! Здравствуй, заинька, будь здоров!

Села лиса по-собачьему и заиньку присесть пригласила; и он ножки под себя поджал. Поджал, сердечный, и всё сам с собой рассуждает: как, мол, я ожидал, так, по-моему, и вышло... Всякому зверю свое житье: льву — львиное, лисе — лисье, зайцу — заячье. Ну-тка, вывози теперь, заячье житье!

А лисица точно читает в его сокровенных мыслях, сидит, да, знай, заиньку похваливает.

— И откуда ты к нам, такой филосо́ф, пожаловал?

— Недавно я, тётенька, из-за тридевять земель, как угорелый, сюда прикатил. Жил я в своем месте, можно сказать, даже очень хорошо. И семейство у меня было, и обзаведеньице, и всё такое. Целую зиму мы у помещика на скотном дворе в омёте припеваючи прожили; днем спим, а ночью клеников да яблонек погрызем. Уж дело к весне шло, в лес бы собираться на дачу пора, ан к нам в омёт волк пожаловал. Какие-такие звери? по какому виду? с чьего разрешения?.. Я-то, признаться, убёг, а зайчиха с зайчатами...

— Слышала я об этом. Волк-то мне кумом приходится, так сказывал. «Намеднись, говорит, я целое заячье гнездо разорил, а заяц убёг, так ка́к бы нам, кума, его разыскать?» Ан ты вот он — он. Смотри, жену-то, чай, жалко было?

— Уж и не помню. Вижу, что надо бежать, — и побежал. Прибежал, смотрю — зайчиха-вдова сидит: давай, мол, вместе жить! И стали жить. Жили мы с ней, нельзя похаять, исправно, а теперь вот она убежала, а я остался.

— Ах ты, горюн, горюн! Ну, дай срок, мы ее изымаем!

Лисица зевнула, легонько куснула зайца за ляжку (он, однако, сделал вид, что не заметил), повалилась на бок, откинула голову и зажмурилась.

— Ишь ведь солнце-то жарит,— лениво пробормотала она:— словно дело делает! Сём, я вздремну, а ты тем временем сядь поближе да покалякай.

Так и сделали. Лиса задремала, а заяц с таким расчетом сел, чтоб лисе его во всякое время мордой достать было можно, и начал сказки сказывать.

— Я, тётенька, непривередлив,— говорил он: — я всячески жить согласен. И трех лет еще нет, как я на свете живу, а уж чуть не половину России обегал. Только что в одном месте оснуешься — глядь, либо волк, либо сова, либо охотнички с облавой на тебя собрались. Беги, сломя голову, устраивайся по-новому, за тридевять земель. Но я на это не ропщу, потому понимаю, что такова есть заячья жизнь. А ежели иной раз и не понимаю, то и не понимаючи всё-таки бегу. Всё одно как мужики в наших местах. Он спать собрался, а под окном у него — тук-тук! ступай, дядя Михей, с подводой! На дворе метель, стыть, лошаденка у него чуть дышит, а он навалит на подводу солдат, да и прёт двадцать верст около саней пешком. Через сутки, глядь, опять домой вернулся, ребятам пряника привез, жене — платок на голову, всем вообще — слезы. Спроси его, что́ сие означает? — он тебе ответит: означает сие мужицкую жизнь. Так-то и мы, зайцы. Жить-живем, а рук на себя не накладываем. Всегда мы готовы... так ли я, тётенька, говорю?

Лиса, вместо ответа, тихо лайнула, точно во сне; заяц искоса взглянул на нее: не спит ли, мол, тётенька? Не было ли у него при этом на уме, в случае чего, стречка дать? Наверное сказать не могу, но очень возможно, что и такого рода политика в программу заячьей жизни входит. Однако, хотя лиса не только глаза зажмурила, но легла на спину и даже ноги, подлая, распялила, но заяц чутьем догадался, что она это комедии перед ним разыгрывает.

— Расскажу я тебе,— продолжал он: — как у меня дядя у одного солдата в услужении жил. Поймал его солдат еще махонького и всему солдатскому обиходу выучил. Из ружья ли выпалить, артикул ли выкинуть[1], смаршировать ли, в барабан ли зо́рю отбить[2] — на всё дядя за первый сорт был. Ездят, бывало, вдвоем по базарам, представленья показывают, а им — кто яйцо, кто копеечку, кто хлеба кусок, христа ради, подаст. Так вот этот самый солдат житие свое дяде рассказывал.— Жил я, говорит, в дому у родителей, и послал меня однажды батюшка сани на зиму изладить. Излаживаю я, песенки попеваю, трубочку покуриваю — вдруг десятский на двор: ступай, Семен, в волостную;

[1] Выкинуть артикул — сделать ружейный прием.

[2] Бить зо́рю — давать сигнал к вечернему сбору в казармах, в лагерях.

тебя в солдаты требуют. Я, в чем был, в том и ушел, хорошо, что трубку-то в штаны спрятать успел. Ушел, да двадцать лет после того и пропонтировал [1]. А через двадцать лет воротился в свое место — ни кола, ни двора, чисто!.. Так вот оно,— прибавил рассудительно заяц: — мужичья-то жизнь как оборачивается! Сейчас он — мужик, а сейчас — солдат, и то, и другое житьем называется. Так-то вот и с нами, зайцами...

— Неужто ж и вас в солдаты отдают? — спросила лиса, точно сейчас проснулась.

— Нет, нас едят,— ответил заяц как можно веселее.

— И я тоже думаю, потому что какие же вы солдаты! Хуже старинной гарнизы [2], которую славный генерал Бибиков [3] «негодницей» звал. И дядю-то твоего, поди, солдат под конец съел?

— Нет, солдат-то умер, а дядя в ту пору бежал. Пришел домой, а заячьей работы работать не может — отвык. И тетка задаром кормить его не согласна. Вот он однажды и надумал: пойду в село на базар, буду комедии представлять. Да только что начал «кавалерийскую рысь» на барабане отхватывать — его собаки и разорвали!

— И поделом: зачем публику беспокоил. Впрочем, ведь дядя-то твой, чай, и заранее знал, что когда-нибудь да съедят его. Не собаки, так волк, не волк, так лисица. Резолюция-то вам всем одна. Ну, а покуда что́, скажи мне: лисицы-то каковы в вашей стороне? Лихи, чай?

— В нашей стороне лисицы, нужно правду сказать, даже очень лихи. Я-то ни с одной близко не встречался, а видел, как однажды лисицу, у меня в глазах, охотничек заполевал. И, признаться...

Заяц хотел сказать: «обрадовался», но спохватился и оробел; однако лиса отгадала его мысль.

— Вот ведь ты кровопивец какой! — укорила она его и так больно укусила ему бок, что из раны полилась кровь.

— Ах! — взвизгнул заяц от боли, но в одну минуту сдержал себя и молодецки поправился: — Это я, ваше высокое степенство, о тамошних лисах говорю, а здешние лисицы, сказывают, добрые.

— Ой ли?

— Верно говорю. В прошлом году у нас в лесу зайчик-сирота остался, так одна лисица его с своими детьми, слышь, воспитала.

— Вырастила, значит, и выпустила? Где ж он теперь, сиротка-то ваш?

— Кто его знает, где он теперь... Пропал будто. Поворовы-

---

[1] Заяц, очевидно, говорит про очень старинные времена, когда солдатская служба продолжалась не меньше 20 лет и когда рекрутов из опасения, чтобы они не бежали в дороге, забивали в колодки. *(Прим. Щедрина.)*

[2] **Гарниза** — солдаты гарнизона, то есть постоянного воинского состава крепости или города.

[3] **Бибиков А. И.** — генерал, усмиритель пугачевского восстания.

вать, говорят, начал, скружился, а наконец, и лисицу молоденькую соблазнил. За это будто бы его старуха-лисица и съела.

— Я его съела, я — та самая лисица и есть, о которой ты слышал. Только не за то я его съела, что он скружился и в разврат впал, а за то, что пора его приспела.

Лисица на минуту задумалась и щелкнула зубами, поймав блоху. Потом, не торопясь, встала, встряхнулась и совершенно добродушно спросила зайца:

— А теперь, как ты полагаешь, кого я есть буду?

Умен был заяц, а не угадал. Или, лучше сказать, у него тогда же в уме мелькнуло: вот оно, заячье-то житье... начинается! — но ему смерть не хотелось даже самому себе признаться в этом.

— Не знаю,— ответил он.

Однако и по лицу, и по голосу его так было явно, что он лжет, что лиса не на шутку рассердилась.

— Вот ты какой лгун! — сказала она.— Мне про тебя и невесть чего наговорили: и философ-то ты, и сердцеведец-то, а выходит, что ты самый обыкновенный плохой зайченко! Тебя буду есть! тебя, сударь, тебя!

Лиса отпрянула назад и сделала вид, что вот-вот сейчас бросится на зайца и съест. Но вслед затем она села и, как ни в чем не бывало, начала задней ногой за ухом чесать.

— А может быть, ты и помилуешь? — вполголоса сделал робкое предположение заяц.

— Час от часу не легче! — еще пуще рассердилась лиса: — Где ты это слыхал, чтобы лисицы миловали, а зайцы помилование получали? Разве для того мы с тобой, фофан ты этакой, под одним небом живем, чтобы в помилованья играть... а?

— Ну, тётенька, примеры-то эти бывали! — настаивал заяц, всё еще хорохорясь. Но тут же, впрочем, упал духом и затосковал.

Вспомнилось ему, как он из конца в конец бегал, словно мужик-раскольщик[1], «вышнего града взыскуя»[2]; как он по целым суткам в дупле, не евши, дрожал; как однажды, от лихого зверя спасаясь, он в подполицу к мужику расскакался, да благо в ту пору великий пост был, мужик-то его и выпустил. Вспомнил про своих зайчих-любушек, как он вместе с ними зайчат зо́блил[3], и как ни с одной порядком даже надышаться не успел. И, вспоминая, то и дело втихомолку твердил:

— Ах, кабы пожить! ах, кабы хоть чуточку еще пожить!

А лиса, тем временем, и взаправду приятный сюрприз зайцу приготовила.

— Слушай, подлый зайчишко,— сказала она: — я ведь думала, что ты, в самом деле, философ, а тебя, между тем, вишь

---

[1] Раскольщик — сектант.

[2] Вышнего гра́да взыскуя (церк.-слав.) — в значении: стремясь к высшей правде.

[3] Зо́блить — заботиться.

как от одной мысли о смерти коробит. Так вот я какую для тебя вольготу придумала. Отойду я на четыре сажени вперед, сяду к тебе задом и не буду на тебя, на гадёнка этакого, целых пять минут смотреть. А ты в это время старайся мимо меня так пробежать, чтобы я тебя не поймала. Успеешь улизнуть — твоя взяла; не успеешь — сейчас тебе резолюция готова.

— Ах, тётенька, где уж мне!

— Глупый! ежели и не улизнешь, так всё-таки время проведешь. Делом займешься, потрафлять будешь — ан тоски-то и убавится. Всё равно, как солдат на войне: потрафляет да потрафляет — смотришь, ан и пропал!

Заяц подумал-подумал и должен был согласиться, что лиса хорошо придумала. Между делом быть съеденным всё-таки вольготнее, нежели в томительно-праздном ожидании. Настоящая-то заячья смерть именно такова и есть, чтобы на всем скаку: бежишь во весь опор, ан тут тебе и капут.

«Ничего ты не понимаешь, что́ с тобой делается, а тебя вдруг пополам разорвали! — соображал заяц и машинально прибавил: — а может быть...»

— Ну, эти фантазии-то ты оставь! — предупредила его лиса, угадав неясную надежду, мелькнувшую у него в голове.— Ты лучше уж без фантазий... раз, два, три! господи, благослови, начинай!

Сказавши это, лиса отошла на четыре сажени вперед, предварительно посадивши зайца задом к частому-частому кустарнику, чтобы никак он не мог назад убежать, а бежал бы не иначе, как мимо нее.

Села лисица и занялась своим делом, словно и не видит зайца. Но заяц нимало не сомневался, что если б она и еще на четыре сажени вперед отошла, то и тогда ни одно самомалейшее его движение не ускользнуло бы от нее. Несколько раз он вскакивал на ноги и уши на спину складывал; несколько раз он весь собирался в комок, намереваясь сделать какой-то диковинный скачок, благодаря которому он сразу очутился бы вне преследования; но уверенность, что лиса, и не видя, всё видит, приводила его в оцепенение. Тем не менее лиса всё-таки была, по-своему, права: у зайца, действительно, нашлось заячье дело, которое в значительной мере агонию его смягчило.

Наконец урочные пять минут истекли, застав зайца неподвижным на прежнем месте и всецело погруженным в созерцание своего заячьего дела.

— Ну, теперь давай, заяц, играть! — предложила лисица.

Начали они играть. С четверть часа лисица прыгала вокруг зайца: то укусит его и совсем уж сберется горло перервать, то прыгнет в сторону и задумается: не простить ли, мол? Но даже и это было для зайца своего рода дело, потому что ежели он и не оборонялся взаправду, то всё-таки лапками закрывался, верезжал...

Но через четверть часа всё было кончено. Вместо зайца остались только клочки шкуры да здравомысленные его слова: «Всякому зверю свое житье: льву — львиное, лисе — лисье, зайцу — заячье».

ЛИБЕРАЛ

В некоторой стране жил-был либерал, и притом такой откровенный, что никто слова не молвит, а он уж во всё горло гаркает: «ах, господа, господа! что́ вы делаете! ведь вы сами себя губите!» И никто на него за это не сердился, а напротив, все говорили: «пускай предупреждает — нам же лучше!»

— Три фактора,— говорил он,— должны лежать в основании всякой общественности: свобода, обеспеченность и самодеятельность. Ежели общество лишено свободы, то это значит, что оно живет без идеалов, без горения мысли, не имея ни основы для творчества, ни веры в предстоящие ему судьбы. Ежели общество сознает себя необеспеченным, то это налагает на него печать подавленности и делает равнодушным к собственной участи. Ежели общество лишено самодеятельности, то оно становится неспособным к устройству своих дел и даже мало-помалу утрачивает представление об отечестве.

Вот как мыслил либерал, и, надо правду сказать, мыслил правильно. Он видел, что кругом него люди, словно отравленные мухи, бродят, и говорил себе: «Это оттого, что они не сознают себя строителями своих судеб. Это колодники, к которым и счастие, и злосчастие приходит без всякого с их стороны предвидения, которые не отдаются беззаветно своим ощущениям, потому что не могут определить, действительно ли это ощущения или какая-нибудь фантасмагория[1]». Одним словом, либерал был твердо убежден, что лишь упомянутые три фактора могут дать обществу прочные устои и привести за собою все остальные блага, необходимые для развития общественности.

Но этого мало: либерал не только благородно мыслил, но и рвался благое дело делать. Заветнейшее его желание состояло в том, чтобы луч света, согревавший его мысль, прорезал окрестную тьму, осенил ее и всё живущее напоил благоволением. Всех людей он признавал братьями, всех одинаково призывал насладиться под сению излюбленных им идеалов.

Хотя это стремление перевести идеалы из области эмпиреев на практическую почву припахивало не совсем благонадежно, но либерал так искренне пламенел, и притом был так мил и ко всем ласков, что ему даже неблагонадежность охотно прощали. Умел он и истину с улыбкой высказать, и простачком, где нужно,

---

[1] Фантасмагория — причудливое, бредовое видение.

прикинуться, и бескорыстием щегольнуть. А главное, никогда и ничего он не требовал наступя на горло, а всегда только *по возможности*.

Конечно, выражение «по возможности» не представляло для его ретивости ничего особенно лестного, но либерал примирялся с ним, во-первых, ради общей пользы, которая у него всегда на первом плане стояла, и, во-вторых, ради ограждения своих идеалов от напрасной и преждевременной гибели. Сверх того, он знал, что идеалы, его одушевляющие, имеют слишком отвлеченный характер, чтобы воздействовать на жизнь непосредственным образом. Что́ такое свобода? обеспеченность? самодеятельность? Всё это отвлеченные термины, которые следует наполнить несомненно осязательным содержанием, чтобы в результате вышло общественное цветение. Термины эти, в своей общности, могут воспитывать общество, могут возвышать уровень его верований и надежд, но блага осязаемого, разливающего непосредственное ощущение довольства, принести не могут. Чтобы достичь этого блага, чтобы сделать идеал общедоступным, необходимо разменять его на мелочи и уже в этом виде применять к исцелению недугов, удручающих человечество. Вот тут-то, при размене на мелочи, и вырабатывается само собой это выражение: «по возможности», которое, из двух приходящих в соприкосновение сторон, одну заставляет *в известной степени* отказаться от замкнутости, а другую — *в значительной степени* сократить свои требования.

Всё это отлично понял наш либерал и, заручившись этими соображениями, препоясался на брань[1] с действительностью. И прежде всего, разумеется, обратился к сведущим людям.

— Свобода — ведь, кажется, тут ничего предосудительного нет? — спросил он их.

— Не только не предосудительно, но и весьма похвально,— ответили сведущие люди: — ведь это только клевещут на нас, будто бы мы не желаем свободы; в действительности, мы только об ней и печалимся... Но, разумеется, в пределах...

— Гм... «в пределах»... понимаю! А что́ вы скажете насчет обеспеченности?

— И это милости просим... Но, разумеется, тоже в пределах.

— А как вы находите мой идеал общественной самодеятельности?

— Его только и недоставало. Но, разумеется, опять-таки в пределах.

Что ж! в пределах, так в пределах! Сам либерал хорошо понимал, что иначе нельзя. Пусти-ка савраса без узды — он в один момент того накуролесит, что годами потом не поправишь! А с уздою — святое дело! Идет саврас и оглядывается: а ну-тко я тебя, саврас, кнутом шарахну... вот так!

---

[1] Препоясался на брань (старинное) — приготовился к бою.

И начал либерал «в пределах» орудовать: там урвет, тут урежет; а в третьем месте и совсем спрячется. А сведущие люди глядят на него и не нарадуются. Одно время даже так работой его увлеклись, что можно было подумать, что и они либералами сделались.

— Действуй! — поощряли они его: — тут обойди, здесь стушуй, а там и вовсе не касайся. И будет всё хорошо. Мы бы, любезный друг, и с радостью готовы тебя, козла, в огород пустить, да сам видишь, каким тыном у нас огород обнесен!

— Вижу-то, вижу,— соглашался либерал: — но только как мне стыдно свои идеалы ломать! так стыдно! ах, как стыдно!

— Ну, и постыдись маленько: стыд глаза не выест! зато, *по возможности,* всё-таки затею свою выполнишь!

Однако, по мере того, как либеральная затея *по возможности* осуществлялась, сведущие люди догадывались, что даже и в этом виде идеалы либерала не розами пахнут. С одной стороны, чересчур широко задумано; с другой стороны — недостаточно созрело, к восприятию не готово.

— Невмоготу нам твои идеалы! — говорили либералу сведущие люди: — не готовы мы, не выдержим!

И так подробно и отчетливо все свои несостоятельности и подлости высчитывали, что либерал, как ни горько ему было, должен был согласиться, что, действительно, в предприятии его существует какой-то фаталистический огрех: не лезет в штаны, да и баста.

— Ах, как это печально! — роптал он на судьбу.

— Чудак! — утешали его сведущие люди: — есть от чего плакать! Тебе что́ нужно? — будущее за твоими идеалами обеспечить? — так ведь мы тебе в этом не препятствуем. Только не торопись ты, ради христа! Ежели нельзя «по возможности», так удовольствуйся тем, что отвоюешь «хоть что-нибудь»! Ведь и «хоть что-нибудь» свою цену имеет. Помаленьку да полегоньку, не торопясь да богу помолясь — смотришь, ан одной ногой ты уж и в капище![1] В капище-то, с самой постройки его, никто не заглядывал; а ты взял да и заглянул... И за то бога благодари.

Делать нечего, пришлось и на этом помириться. Ежели нельзя «по возможности», так «хоть что-нибудь» старайся урвать и на том спасибо скажи. Так либерал и поступил, и вскоре так свыкся с своим новым положением, что сам дивился, как он был так глуп, полагая, что возможны какие-нибудь иные пределы. И уподобления всякие на подмогу к нему явились. И пшеничное, мол, зерно не сразу плод дает, а также поцеремонится. Сперва надо его в землю посадить, потом ожидать, покуда в нем произойдет процесс разложения, потом оно даст росток, который прозябнет, в трубку пойдет, восколосится и т. д. Вот через сколько волшебств должно перейти зерно, прежде нежели даст плод стори-

[1] **Капище** — языческий храм; здесь в переносном смысле: царство идеалов.

цею! Так же и тут, в погоне за идеалами. Посадил в землю «хоть что-нибудь» — сиди и жди.

И точно: посадил либерал в землю «хоть что-нибудь» — сидит и ждет. Только ждет-пождет, а не прозябает «хоть что-нибудь», и вся недолга. На камень оно, что ли, попало, или в навозе сопрело — поди, разбирай!

— Чтó за причина такая? — бормотал либерал в великом смущении.

— Та самая причина и есть, что загребаешь ты чересчур широко,— отвечали сведущие люди.— А народ у нас, между тем, слабый, расподлеющий. Ты к нему с добром, а он норовит тебя же в ложке утопить. Большую надо сноровку иметь, чтобы с этим народом в чистоте себя сохранить!

— Помилуйте! чтó уж теперь об чистоте говорить! С каким я запасом-то в путь вышел, а кончил тем, что весь его по дороге растерял. Сперва «по возможности» действовал, потом на «хоть что-нибудь» съехал — неужто можно и еще дальше под гору идти?

— Разумеется, можно. Не хочешь ли, например, «применительно к подлости»?

— Как так?

— Очень просто. Ты говоришь, что принес нам идеалы, а мы говорим: прекрасно; только ежели ты хочешь, чтоб мы восчувствовали, то действуй применительно.

— Ну?

— Значит, идеалами-то не превозносись, а по нашему масштабу их сократи, да применительно и действуй. А потом, может быть, и мы, коли пользу увидим... Мы, брат, тоже травленые волки, прожектёров-то [1] видели! Намеднись генерал Крокодилов вот этак же к нам отъявился: господа, говорит, мой идеал — кутузка! пожалуйте! Мы сдуру-то поверили, а теперь и сидим у него под ключом.

Крепко задумался либерал, услышав эти слова. И без того от первоначальных его идеалов только одни ярлыки остались, а тут еще подлость прямую для них прописывают! Ведь этак, пожалуй, не успеешь оглянуться, как и сам в подлецах очутишься. Господи! вразуми!

А сведущие люди, видя его задумчивость, с своей стороны, стали его понуждать.— Коли ты, либерал, заварил кашу, так уж не мудри, вари до конца! Ты нас взбудоражил, ты же нас и ублаготвори... действуй!

И стал он действовать. И всё применительно к подлости. Попробует иногда, грешным делом, в сторону улизнуть; а сведущий человек сейчас его за рукав: куда, либерал, глаза скосил? гляди прямо!

Таким образом шли дни за днями, а за ними шло вперед и дело преуспеяния «применительно к подлости». Идеалов и в по-

[1] **П р о ж е к т ё р** — составитель неосновательных проектов.

забытость. темноту, за невежество.

мине уж не было — одна мразь осталась — а либерал всё-таки не унывал. «Что ж такое, что я свои идеалы по́ уши в подлости завязил? Зато я сам, яко столп, невредим стою! Сегодня я в грязи валяюсь, а завтра выглянет солнышко, обсушит грязь — я и опять молодец-молодцом!» А сведущие люди слушали эти его похвальбы и поддакивали: именно так!

И вот шел он однажды по улице с своим приятелем, по обыкновению об идеалах калякал и свою мудрость на чем свет превозносил. Как вдруг он почувствовал, словно бы на щеку ему несколько брызгов пало. Откуда? с чего? Взглянул либерал наверх: не дождик ли, мол? Однако видит, что в небе ни облака, и солнышко, как угорелое, на зените играет. Ветерок хоть и подувает, но так как помои из окон выливать не указано, то и на эту операцию подозрение положить нельзя.

— Что́ за чудо! — говорит приятелю либерал: — дождя нет, помоев нет, а у меня на щеку брызги летят!

— А видишь, вон за углом некоторый человек притаился,— ответил приятель: — это его дело! Плюнуть ему на тебя за твои либеральные дела захотелось, а в глаза сделать это смелости не хватает. Вот он, «применительно к подлости», из-за угла и плюнул; а на тебя ветром брызги нанесло.

КОНЯГА

Коняга лежит при дороге и тяжко дремлет. Мужичок только что выпряг его и пустил покормиться. Но Коняге не до корма. Полоса выбралась трудная, с камешком: в великую силу они с мужичком ее одолели.

Коняга — обыкновенный мужичий живот[1], замученный, побитый, узкогрудый, с выпяченными ребрами и обожженными плечами, с разбитыми ногами. Голову Коняга держит понуро; грива на шее у него свалялась; из глаз и ноздрей сочится слизь; верхняя губа отвисла, как блин. Немного на такой животине наработаешь, а работать надо. День-деньской Коняга из хомута не выходит. Летом с утра до вечера землю работает; зимой, вплоть до ростепели, «произведения» возит.

А силы Коняге набраться неоткуда: такой ему корм, что от него только зубы нахлопаешь. Летом, покуда в ночную гоняют, хоть травкой мяконькой поживится, а зимой перевозит на базар «произведения» и ест дома резку из прелой соломы. Весной, как в поле скотину выгонять, его жердями на ноги поднимают; а в поле ни травинки нет; кой-где только торчит махрами сопрелая ветошь, которую прошлой осенью скотский зуб ненароком обошел.

[1] Живот — здесь в смысле: животное.

Худое Конягино житье. Хорошо еще, что мужик попался добрый и даром его не калечит. Выедут оба с сохой в поле: ну, милый, упирайся! — услышит Коняга знакомый окрик и понимает. Всем своим жалким остовом вытянется, передними ногами упирается, задними — забирает, морду к груди пригнет. Ну, каторжный, вывози! А за сохой сам мужичок грудью напирает, руками, словно клещами, в соху впился, ногами в комьях земли грузнет, глазами следит, как бы соха не слукавила, огреха бы не дала. Пройдут борозду из конца в конец — и оба дрожат: вот она, смерть, пришла! Обоим смерть — и Коняге, и мужику; каждый день смерть.

Пыльный мужицкий проселок узкой лентой от деревни до деревни бежит: юркнет в поселок, вынырнет и опять неведомо куда побежит. И на всем протяжении, по обе стороны, его поля сторожат. Нет конца полям; всю ширь и даль они заполонили; даже там, где земля с небом слилась, и там всё поля. Золотящиеся, зеленеющие, обнаженные — они железным кольцом охватили деревню, и нет у нее никуда выхода, кроме как в эту зияющую бездну полей. Вот он, человек, вдали идет; может, ноги у него от спешной ходьбы подсекаются, а издали кажется, что он всё на одном месте топчется, словно освободиться не может от одолевающего пространства полей. Не вглубь уходит эта малая, едва заметная точка, а только чуть тускнеет. Тускнеет, тускнеет и вдруг неожиданно пропадает, точно пространство само собой ее засосет.

Из века в век цепенеет грозная, неподвижная громада полей, словно силу сказочную в плену у себя сторожит. Кто освободит эту силу из плена? кто вызовет ее на свет? Двум существам выпала на долю эта задача: мужику да Коняге. И оба от рождения до могилы над этой задачей бьются, пот проливают кровавый, а поле и поднесь своей сказочной силы не выдало,— той силы, которая разрешила бы узы [1] мужику, а Коняге исцелила бы наболевшие плечи.

Лежит Коняга на самом солнечном припеке; кругом ни деревца, а воздух до того накалился, что дыханье в гортани захватывает. Изредка пробежит по проселку вихрами пыль, но ветер, который поднимает ее, приносит не освежение, а новые и новые ливни зноя. Оводы и мухи, как бешеные, мечутся над Конягой, забиваются к нему в уши и в ноздри, впиваются в побитые места, а он — только ушами автоматически вздрагивает от уколов. Дремлет ли Коняга, или помирает — нельзя угадать. Он и пожаловаться не может, что всё нутро у него от зноя да от кровавой натуги сожгло. И в этой утехе бог бессловесной животине отказал.

Дремлет Коняга, а над мучительной агонией, которая заменяет ему отдых, не сновидения носятся, а бессвязная подавляю-

[1] **Разрешить узы** (старинное) — снять оковы.

щая хмара [1]. Хмара, в которой не только образов, но даже чудищ нет, а есть громадные пятна, то черные, то огненные, которые и стоят, и движутся вместе с измученным Конягой, и тянут его за собой всё дальше и дальше в бездонную глубь.

Нет конца полю, не уйдешь от него никуда! Исходил его Коняга с сохой вдоль и поперек, и всё-таки ему конца-краю нет. И обнаженное, и цветущее, и цепенеющее под белым саваном — оно властно раскинулось вглубь и вширь, и не на борьбу с собою вызывает, а прямо берет в кабалу. Ни разгадать его, ни покорить, ни истощить нельзя: сейчас оно помертвело, сейчас — опять народилось. Не поймешь, что́ тут смерть и что́ жизнь. Но и в смерти, и в жизни первый и неизменный свидетель — Коняга. Для всех поле раздолье, поэзия, простор; для Коняги оно — кабала. Поле давит его, отнимает у него последние силы и всё-таки не признает себя сытым. Ходит Коняга от зари до зари, а впереди его идет колышущееся черное пятно и тянет, и тянет за собой. Вот теперь оно колышется перед ним, и теперь ему, сквозь дремоту, слышится окрик: ну, милый! ну, каторжный! ну!

Никогда не потухнет этот огненный шар, который от зари до зари льет на Конягу потоки горячих лучей; никогда не прекратятся дожди, грозы, вьюги, мороз... Для всех природа — мать, для него одного она — бич и истязание. Всякое проявление ее жизни отражается на нем мучительством, всякое цветение — отравою. Нет для него ни благоухания, ни гармонии звуков, ни сочетания цветов; никаких ощущений он не знает, кроме ощущения боли, усталости и злосчастия. Пускай солнце напояет природу теплом и светом, пускай лучи его вызывают к жизни и ликованию — бедный Коняга знает об нем только одно: что оно прибавляет новую отраву к тем бесчисленным отравам, из которых соткана его жизнь.

Нет конца работе! Работой исчерпывается весь смысл его существования: для нее он зачат и рожден, и вне ее он не только никому не нужен, но, как говорят расчетливые хозяева, представляет ущерб. Вся обстановка, в которой он живет, направлена единственно к тому, чтобы не дать замереть в нем той мускульной силе, которая источает из себя возможность физического труда. И корма, и отдыха отмеривается ему именно столько, чтоб он был способен выполнить свой урок. А затем пускай поле и стихии калечат его — никому нет дела до того, сколько новых ран прибавилось у него на ногах, на плечах и на спине. Не благополучие его нужно, а жизнь, способная выносить иго работы. Сколько веков он несет это иго — он не знает; сколько веков предстоит нести его впереди — не рассчитывает. Он живет, точно в темную бездну погружается, и из всех ощущений, доступных живому организму, знает только ноющую боль, которую дает работа.

---

[1] Хмара — густой туман.

Самая жизнь Коняги запечатлена клеймом бесконечности. Он не живет, но и не умирает. Поле, как головоног [1], присосалось к нему бесчисленными щупальцами и не спускает его с урочной полосы. Какими бы наружными отличками ни наделил его случай, он всегда один и тот же: побитый, замученный, еле живой. Подобно этому полю, которое он орошает своею кровью, он не считает ни дней, ни лет, ни веков, а знает только вечность. По всему полю он разбрелся, и там, и тут одинаково вытягивается всем своим жалким остовом, и везде всё он, всё один и тот же, безымянный Коняга. Целая масса живет в нем, не умирающая, не расчленимая и не истребимая. Нет конца жизни — только одно это для этой массы и ясно. Но что́ такое сама эта жизнь? зачем она опутала Конягу узами бессмертия? откуда она пришла и куда идет? — вероятно, когда-нибудь на эти вопросы ответит будущее... Но, может быть, и оно останется столь же немо и безучастно, как и та темная бездна прошлого, которая населила мир привидениями и отдала им в жертву живых.

Дремлет Коняга, а мимо него пустоплясы проходят. Никто, с первого взгляда, не скажет, что Коняга и Пустопляс — одного отца дети. Однако предание об этом родстве еще не совсем заглохло.

Жил, во времена о́ны, старый конь, и было у него два сына: Коняга и Пустопляс. Пустопляс был сын вежливый и чувствительный, а Коняга — неотесанный и бесчувственный. Долго терпел старик Конягину неотесанность, долго обоих сыновей вел ровно, как подобает чадолюбивому отцу, но, наконец, рассердился и сказал: «Вот вам на веки вечные моя воля: Коняге — солома, а Пустоплясу — овес». Так с тех пор и пошло. Пустопляса в теплое стойло поставили, соломки мяконькой постелили, медовой сытой [2] напоили и пшена ему в ясли засыпали; а Конягу привели в хлев и бросили охапку прелой соломы: хлопай зубами, Коняга! А пить — вон из той лужи.

Совсем было позабыл Пустопляс, что у него братец на свете живет, да вдруг с чего-то загрустил и вспомнил. «Надоело, говорит, мне стойло теплое, прискучила сыта медовая, не лезет в горло пшено ярое; пойду, проведаю, каково-то мой братец живет!»

Смотрит — ан братец-то у него бессмертный! Бьют его чем ни по́падя, а он живет; кормят его соломою, а он живет! И в какую сторону поля ни взгляни, везде всё братец орудует; сейчас ты его здесь видел, а мигнул глазом — он уж вон где ногами вывертывает. Стало быть, добродетель какая-нибудь в нем есть, что палка сама от него сокрушается, а его сокрушить не может!

И вот начали пустоплясы кругом Коняги похаживать.

---

[1] **Головоног** — маленькое беспозвоночное животное с 8—10 щупальцами вокруг рта, которыми оно схватывает свою жертву.

[2] **Медовая сыта** — мед, сваренный на воде.

Один скажет:

— Это оттого его ничем донять нельзя, что в нем от постоянной работы здравого смысла много накопилось. Понял он, что уши выше лба не растут, что плетью обуха не перешибешь, и живет себе смирнехонько, весь опутанный пословицами, словно у христа за пазушкой. Будь здоров, Коняга! Делай свое дело, бди!

Другой возразит:

— Ах, совсем не от здравого смысла так прочно сложилась его жизнь! Что́ такое здравый смысл? Здравый смысл — это нечто обыденное, до пошлости ясное, напоминающее математическую формулу или приказ по полиции. Не это поддерживает в Коняге несокрушимость, а то, что он в себе жизнь духа и дух жизни носит![1] И покуда он будет вмещать эти два сокровища, никакая палка его не сокрушит!

Третий молвит:

— Какую вы, однако, галиматью городите! Жизнь духа, дух жизни — что́ это такое, как не пустая перестановка бессодержательных слов? Совсем не потому Коняга неуязвим, а потому, что он «настоящий труд» для себя нашел. Этот труд дает ему душевное равновесие, примиряет его и со своею личною совестью, и с совестью масс, и наделяет его тою устойчивостью, которую даже века рабства не могли победить! Трудись, Коняга! упирайся! загребай! и почерпай в труде ту душевную ясность, которую мы, пустоплясы, утратили навсегда.

А четвертый (должно быть, прямо с конюшни от кабатчика) присовокупляет:

— Ах, господа, господа! всё-то вы пальцем в небо попадаете! Совсем не оттого нельзя Конягу донять, чтобы в нем особенная причина засела, а оттого, что он спокон-веку к своей юдоли[2] привычен. Теперича хоть целое дерево об него обломай, а он всё жив. Вон он лежит — кажется, и духу-то в нем нисколько не осталось,— а взбодри его хорошенько кнутом, он и опять ногами вывертывать пошел. Кто к какому делу приставлен, тот то дело и делает. Сосчитайте-ка, сколько их, калек этаких, по полю разбрелось — и все как один. Калечьте их теперича сколько угодно — их вот ни на эстолько не убавится. Сейчас — его нет, а сейчас — он опять из-под земли выскочил.

И так как все эти разговоры не от настоящего дела завелись, а от грусти, то поговорят-поговорят пустоплясы, а потом и перекоряться начнут. Но, на счастье, как раз в самую пору проснется мужик и разрешит все споры словами:

[1] Жизнь духа и дух жизни.— Щедрин насмешливо употребляет выражение из стихотворения видного славянофила А. С. Хомякова «Киев»:

> К жизни духа, к духу жизни
> Возрожденные тобой!

[2] Юдоль — участь (обычно печальная).

— Н-но, каторжный, шевелись!

Тут уж у всех пустоплясов заодно дух от восторга займется.

— Смотрите-ка, смотрите-ка! — закричат они вкупе и влюбе [1]: — Смотрите, как он вытягивается, как он передними ногами упирается, а задними загребает! Вот уж именно дело мастера боится! Упирайся, Коняга! Вот у кого учиться надо! Вот кому надо подражать! Н-но, каторжный, н-но!

КИСЕЛЬ

Сварила кухарка кисель и на стол поставила. Скушали кисель господа, сказали спасибо, а детушки пальчики облизали. На славу вышел кисель; всем по нраву пришелся, всем угодил. «Ах, какой сладкой кисель!», «ах, какой мягкой кисель!», «вот так кисель!» — только и слов про него.— «Смотри, кухарка, чтобы каждый день на столе кисель был!» И сами наелись, и гостей употчивали, а под конец и прохожим на улицу чашку выставили. «Поешьте, честные господа, киселя! вон он у нас какой: сам в рот лезет! Ешьте больше, он это любит!» И всякий подходил, совал в кисель ложкой, ел и утирался.

Кисель был до того разымчив и мягок, что никакого неудобства не чувствовал от того, что его ели. Напротив того, слыша общие похвалы, он даже возмечтал. Стоит на столе, да знай себе пузырится. «Стало быть, я хорош, коли господа меня любят! Не зевай, кухарка! подливай!»

Долго ли, коротко ли так шло, только стал постепенно кисель господам прискучивать. Господа против прежнего сделались образованнее; даже из подлого звания которые мало-мальски в чины произошли — и те начали желеи да бламанжеи предпочитать.

— Помилуйте! — говорит один: — Что́ хорошего в этом киселе? разве это еда? попробуйте, какой он мягкой, да слизкой, да сладкой!

— Отдадимте, господа, кисель свиньям! — подхватил другой: — а сами уедем на теплые воды гулять! Нагуляемся вдосталь, а там, если уж это непременно нужно, и опять домой воротимся кисель есть.

Что же! свиньи так свиньи — право, киселю всё равно, в каком ранге особа его ест. Лишь бы ели. Засунула свинья рыло в кисель по самые уши и на весь скотный двор чавкотню подняла. Чавкает да похрюкивает: «Покатаюся, поваляюся, господского киселя наевшись!» Сытости, подлая, не знает; чуть замешкается кухарка, она уж хрюкает: подливай! А ежели скажут: был ки-

---

[1] **В к у п е и в л ю б е** (старинное) — вместе и дружно.

сель, да весь вышел,— она и по углам, и по закоулкам, и под навозом мордой вышарит и уж где-нибудь да отыщет.

Ела да ела свинья и, наконец, всё до капли съела. А господа, между тем, гуляли-гуляли да и догулялись. Догулялись и говорят друг другу: теперь нам гулять больше не на что; айда́ домой кисель есть!

Приехали домой, взялись за ложки — смотрят, ан от киселя остались только засохшие поскребушки.

И теперь все — и господа, и свиньи — все в один голос вопиют:

— Ели мы кисель, а про запас не оставили! Чем-то на будущее время сыты будем! Где ты, кисель? ау!

ПУТЕМ-ДОРОГОЮ

(Разговор)

Шли путем-дорогою два мужика: Иван Бодров да Федор Голубкин. Оба были односельчане и соседи по дворам, оба только что в весенний мясоед женились. С апреля месяца жили они в Москве в каменщиках и теперь выпросились у хозяина в побывку домой на сенокосное время. Предстояло пройти от железной дороги верст сорок в сторону, а этакую махину, пожалуй, и привычный мужик в одни сутки не оплетёт.

Шли они не то́ропко, не надрываясь. Вышли ранним утром, а теперь солнце уж высоко стояло. Они отошли всего верст пятнадцать, как ноги уж потребовали отдыха, тем больше, что день выдался знойный, душный. Но, высматривая по сторонам, не встретится ли стога сена, под которым можно было бы поесть и соснуть, они оживленно между собой разговаривали.

— Ты что́ домой, Иван, несешь? — спросил Федор.

— Да три пятишницы[1] хозяин до расчета дал. Одну-то, признаться, в Москве еще на мелочи истратил, а две домой несу.

— И я тоже. Да только куда с двумя пятишницами повернешься?

— Тут и в пир, и в мир, а отец велел сказать, что какая-то старая недоимка нашлась, так понуждают. Пожалуй, и всё туда уйдет.

— А у нас и хлеба-то до нового не хватит. Пришел сенокос, руки-то целый день намахаешь, так поневоле есть запросишь. Ничего-то у нас нет, ни хлеба, ни соли, а тоже людьми считаемся. Говорят: вы каменщики, в Москве работаете, у вас должны деньги значиться.... А сколько их и по осени-то принесешь!

— Худо наше крестьянское житье! Нет хуже.

---

[1] **Пятишница** — пятирублевая бумажка.

— Чего еще!

Путники вздохнули и несколько минут шли молча.

— Чтó-то теперь наши делают? — опять начал Федор.

— Чтó делают! Чай, навоз вывезли, пашут... и пашут, и боронят, и сеют; круглое лето около земли ходят, а всё хлеба нет. Сряду три года — то вымокнет, то сухмень высушит, то градом побьет... Кáк-то нынче господь совершит!

— А у меня, брат, и еще горе. К Дуньке волостной старшина увязался; не дает бабе проходу, да и вся недолгà. Свах с подарками засылает; одну батюшко возжами поучил, так его же на три дня в холодную засадили.

— И ничего не поделаешь! Помнишь, как летось Прохорова Матрена задавилась? Тоже старшина... Терпела-терпела, да и в петлю...

— Нам худо, а бабам нашим еще того хуже. Мы, по крайности, в Москву сходим, на свет поглядим, а баба — куда она пойдет? Словно к тюрьме прикованная. Ноги и руки за лето иссекутся; лицо словно голенище черное сделается, и на человека-то не похоже. И всякий-то норовит ее обидеть да обозвать...

— Давай-ка, Федя, песню с горя споем!

Стали петь песню, но с горя и с устатку как-то не пелось.

— А чтó, Иван, я хотел тебя спросить: где Правда находится? — молвил Федор.

— И я тоже не однова́ спрашивал у людей: где, мол, Правда, где ее отыскать? А мне один молодой барин в Москве сказал, будто она на дне колодца сидит спрятана.

— Ишь ведь! Кабы так, давно бы наши бабы ее оттоле бадьями вытащили,— пошутил Федор.

— Известно, посмеялся надо мной барчук. Им чтó! Они и без Правды проживут. А нам Неправда-то оскомину набила.

— Старики сказывают, что дедушко Еремей еще при старом барине всё Правды искал; да Правда-то, вишь, изувечила его.

— Прежде многие Правду разыскивали; тяжельше, стало быть, жить было, да и сердце у стариков болело. Одна барщина сколько народу сгубила. В поле — смерть, дома — смерть, везде... Придет крестьянин о празднике в церковь, а там на всех стенах Правда написана, только со стены-то ее не снимешь.

— Это правда твоя, что не снимешь. Чтó крестьянин? Он и видит, да глаз неймет. Темные мы люди, бессчастные; вздохнешь да поплачешь: господи, помилуй! — только и всего. И молиться-то мы не умеем.

— Прежде ходоки такие были, за мир стояли. Соберется, бывало, ходок, крадучись, в Петербург, а его оттоле по этапу...

— Всё-таки прежде хоть насчет Правды лучше было. И старики детям наказывали: одолела нас Неправда, надо Правды искать. Батюшко сказывал: такое сердце у дедушки Еремея было — так и рвется за мир постоять! И теперь он на печи изуве-

ченный лежит; в чем душа, а всё об Правде твердит! Только нынче его уж не слушают.

— То-то, что легче, говорят, стало — оттого и Еремея не слушают. Кому нынче Правда нужна? И на сходке, и в кабаке — везде нонче легость...

— Прежде господа рвали душу, теперь — мироеды [1] да кабатчики. Во всякой деревне мироед завелся: рвет христианские души, да и шабаш.

— Возьмем хоть бы Василия Игнатьева — какие он себе хоромы на христианскую кровь взбодрил. Крышу-то красную за версту видно; о́бок лавка, а он стоит в дверях да брюхо об косяк чешет.

— И все к нему с почтением. Старшина приедет — с ним вместе бражничает, долги его прежде казенных податей собирает; становой приедет — тоже у него становится... У него и щи с убоиной, и водка. Летось молодой барин из Питера приезжал — сейчас: попросите ко мне Василия Игнатьича!.. Ну, что́, Василий Игнатьич, всё ли по добру, по здорову? хорошо ли торгуете? Чайку вместе попьемте... вы, дескать, настоящий добрый русский крестьянин! печетесь о себе, другим пример показываете... И ежели, мол, вам что́ нужно, так пишите ко мне в Петербург.

— Одво́рицу [2] выкупил, да надел на семь душ! Совсем из мира увольнился, сам барин.

— А теперь мир ему в ноги кланяется, как придет время подати вносить. Миром ему и сенокос убирают, и хлеб жнут...

— Вот так легость! Нет, ты скажи, где же Правду искать?

— У бога она, должно быть. Бог ее на небо взял и не пущает.

Опять смолкли спутники, опять завздыхали. Но Федор верил, что не может этого статься, чтобы Правды не было на свете, и ему не по нраву было, что товарищ его относится к этой вере так легко.

— Нет, я попробую,— сказал он.— Я как приду, так сейчас же к дедушке Еремею схожу. Всё у него выспрошу, как он Правду разыскивал.

— А он тебе расскажет, как его в части секли, как по этапу гнали, да в Сибирь совсем было собрали, только барин вдруг спохватился: определить Еремея лесным сторожем! И сторожил он барские леса до самой воли, жил в трущобе, и никого не велено было пускать к нему. Нет уж, лучше ты этого дела не замай!

— Никак этого сделать нельзя. Возьми хоть Дуньку: как я приду, сейчас она мне всё расскажет... Что же я столбом, что ли, перед ней стоять буду? Нет, тут и до смертного случая недалеко. Я ему кишки, псу несытому, выпущу!

---

[1] **Мироед** — эксплуататор, кулак.
[2] **Одво́рица** — крестьянская усадьба.

— Ишь ведь! Всё говорил об Правде, а теперь на кишки своротил. Разве это Правда? знаешь ли ты, что за такую Правду с тобой сделают?

— И пущай делают. По-твоему, значит, так и оставить. Приходите, мол, Егор Петрович: моя Дунька завсегда... Нет, это надо оставить! Сыщу я Правду, сыщу!

— Ах ты, жарынь какая! —молвил Иван, чтобы переменить разговор:— скоро, поди, столб будет, а там деревнюшка. Туда, что ли, полдничать пойдем, или в поле отдохнем?

Но Федор не мог уж угомониться и всё бормотал: сыщу я Правду, сыщу!

— А я так думаю, что ничего ты не сыщешь, потому что нет Правды для нас; время, вишь, не наступило! — сказал Иван.— Ты лучше подумай, на какие деньги хлеба искупить, чтоб до нового есть было что.

— К тому же Василию Игнатьеву пойдем, в ноги поклонимся! — угрюмо ответил Федор.

— И то придется; да десятину сенокоса ему за подожда́нье уберем! Батюшко, пожалуй, скажет: чем на платки жене да на кушаки третью пятишницу тратить, лучше бы на хлеб ее сберег.

— Терпим и холод, и голод, каждый год всё ждем: авось, будет лучше... доколе же? Ин и в самом деле Правды на свете нет! как только, по́пусту, люди болтают: Правда, Правда... а где она?!

— Намеднись начетчик один в Москве говорил мне: Правда — у нас в сердцах; живите по правде — и вам, и всем хорошо будет.

— Сыт, должно быть, этот начетчик, оттого и мелет.

— А может, и господа набаловали. Простой, дескать, мужик, а какие речи говорит! Ему-то хорошо, так он и забыл, что другим больно.

В это время навстречу путникам мелькнул полусгнивший верстовой столб, на котором едва можно было прочитать: от Москвы 18, от станции Рудаки 3 версты.

— Что ж, в поле отдохнем? — спросил Иван.— Вон и стожок близко.

— Известно, в поле, а то где ж? в деревне, что ли, харчиться?

Товарищи свернули с дороги и сели под тенью старого, накренившегося стога.

— Есть же люди,— заметил Иван, снимая лапти:— у которых еще старое сено осталось. У нас и солому-то с крыш по весне коровы приели.

Начали полдничать; добыли воды да хлеб из мешков вынули — вот и еда готова. Потом вытащили из стога по охапке сена и улеглись.

— Смотри, Федя,— молвил Иван, укладываясь и позевывая: — во все стороны сколько простору! Всем место есть, а нам...

СКАЗКА О РЕТИВОМ НАЧАЛЬНИКЕ, КАК ОН СВОИМ УСЕРДИЕМ ВЫШНЕЕ НАЧАЛЬСТВО ОГОРЧИЛ

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был ретивый начальник. Случилось это давно, еще в ту пору, когда промежду начальников такое правило было: стараться как можно больше вреда делать, а уж из сего, само собой, впоследствии, польза произойдет.

— Обывателя надо сначала скрутить,— говорили тогдашние генералы,— потом в бараний рог согнуть, а наконец, в отделку, ежовой рукавицей пригладить. И когда он вышколится, тогда уж сам собой постепенно отдышится и процветет.

Правило это ретивый начальник без труда на носу у себя зарубил. Так что когда он впоследствии «вверенный край» в награду за понятливость получил, то у него уж и программа была припасена. Сначала он науки упразднит, потом город спалит и, наконец, население испугает. И всякий раз будет при этом слезы проливать и приговаривать: «Видит бог, что я сей вред для собственной ихней пользы делаю!» Годик-другой таким образом попалит — смотришь, ан вверенный-то край и остепеняться помаленьку стал. Остепенялся да остепенялся — и вдруг каторга!

Каторга, то есть общежитие, в котором обыватели не в свое дело не суются, пороху не выдумывают, передовых статей не пишут, а живут и степенно блаженствуют. В будни работу работают, в праздники — за начальство бога молят. И оттого у них всё как по маслу идет. Наук нет, а они хоть сейчас на экзамен готовы; вина не пьют, а питейный доход возрастает да возрастает; товаров из-за границы не получают, а пошлины на таможнях поступают да поступают. А он, ретивый начальник, только смотрит да радуется; бабам по платку дарит, мужикам — по красному кушаку. «Вот какова *моя* каторга! — говорит.— Вот зачем я науки истреблял, людей калечил, город огнем палил! Теперь понимаете?»

— Как не понимать — поимаем.

В этой надежде приехал он в свое место и начал вредить. Вредит год, вредит другой. Народное продовольствие — прекратил, народное здравие — упразднил, письмена — сжег и пепел по ветру развеял. На третий год стал себя проверять — что за чудо! — надо бы, по-настоящему, вверенному краю уж процвести, а он даже остепеняться не начинал! Как ошеломил он с первого абцуга обывателей, так с тех пор они распахня рот и ходят...

Задумался ретивый начальник, принялся разыскивать: какая тому причина?

Думал-думал, и вдруг его словно свет озарил: «Рассуждение» — вот причина. Стал он припоминать разные случаи и чем больше припоминал, тем больше убеждался, что хоть и много он

навредил, но до *настоящего* вреда, до такого, который бы всех сразу прищемил, всё-таки не дошел. А не дошел потому, что этому препятствовало «рассуждение». Сколько раз с ним бывало: разбежится, размахнется, закричит: «Разнесу!» — ан вдруг «рассуждение»: какой же ты, братец, осёл! — Ну, он и спасует. А кабы не было у него «рассуждения», он бы давно уж до каторги дело довел.

— Давно бы вы у меня отдышались! — крикнул он не своим голосом, сделавши это открытие.

И погрозил кулаком в пространстве, думая хоть этим посильную пользу вверенному краю принести.

На его счастье, жила в этом городе колдунья, которая на кофейной гуще будущее отгадывала, а между прочим умела и «рассуждение» отнимать. Побежал он к ней, кричит: «Отымай!» Видит колдунья, что дело к спеху, живым манером сыскала у него в голове дырку и подняла клапанчик. Вдруг что-то из дырки свистнуло... шабаш! Остался наш парень без рассуждения...

Разумеется, очень рад. Стал есть — куска до рта донести не может, всё мимо. Хохочет.

Сейчас побежал в присутственное место. Стал посредине комнаты и хочет вред сделать. Только хотеть-то хочет, а какой именно вред и как к нему приступить — не понимает. Таращит глазами, губами шевелит — больше ничего. Однако так он одним своим нерассудительным видом всех испугал, что разом все разбежались. Тогда он ударил кулаком по столу, расколол его и убежал.

Прибежал в поле. Видит — люди пашут, боронят, косят, гребут. Знает, сколь необходимо сих людей в рудники заточить, а каким манером — не понимает. Вытаращил глаза, отнял у одного пахаря косулю и разбил вдребезги, но только что бросился к другому пахарю, чтоб борону разнести, как все испугались и в одну минуту поле опустело. Тогда он разметал только что смётанный стог сена и убежал.

Воротился в город. Знает, что надобно его с четырех концов запалить, а каким манером — не понимает. Вынул по привычке из кармана коробочку спичек, чиркает, да не тем концом. Взбежал на колокольню и стал бить в набат. Звонит час, звонит другой, а что за причина — не понимает. А народ между тем сбежался, спрашивает: «Где батюшко, где?» Наконец устал звонить, сбежал вниз, опять вынул коробку со спичками, зажег их все разом и только было ринулся в толпу, как все мгновенно брызнули в разные стороны и он остался один. Тогда побежал домой и заперся на ключ.

Сидит неделю, сидит другую; вреда не делает, а только не понимает. И обыватели тоже не понимают. Тут-то бы им и отдышаться, покуда он без вреда запершись сидел, а они, вместо того, испугались. Да нельзя было и не испугаться. До тех пор всё вред был, и все от него пользы с часу на час ждали; но только что

было польза наклевываться стала, как вдруг всё кругом стихло: ни вреда, ни пользы. И чего от этой тишины ждать — неизвестно. Ну, и оторопели. Бросили работы, попрятались в норы, азбуку позабыли, сидят и ждут.

А у него между тем опять рассуждение прикапливаться стало. Однажды выглянул он в окошко и как будто понял.

— Кажется, я одним своим нерассудительным видом *настоящий* вред сделал! — воскликнул он и стал ждать: вот сейчас соберутся перед домом обыватели и будут каторги просить.

Но, сколько он ни ждал, никто не пришел. По-видимому, всё уже у него начеку: и поля заскорбли, и реки обмелели, и стада сибирская язва посекла, и письмена пропали — еще одно усилие, и каторга готова! Только вопрос: с кем же он устроит ее, эту каторгу? Куда он ни посмотрит — везде пусто; только «мерзавцы», словно комары на солнышке, стадами играют. Так ведь с ними с одними и каторгу устроить нельзя. Потому что и для каторги не ябедник праздный нужен, а коренной обыватель, работяга, смирный.

Рассердился. Вышел на улицу, стал в обывательские норы залезать и поодиночке народ оттоле вытаскивать. Вытащит одного — приведет в изумление; вытащит другого — тоже в изумление приведет. Но тут опять беда. Не успеет до крайней норы дойти — смотрит, ан прежние опять в норы уползли...

Тогда он вспомнил, что когда он еще ребенком был, то воспитатель-француз (из эмигрантов) говаривал: «Буде хочешь отечество подкузьмить» — призови на помощь «мерзавцев».

Обрадовался, созвал «мерзавцев» и сказал им:

— Пишите, мерзавцы, доносы!

И вдруг пошла во всем крае суматоха. Кому горе, а «мерзавцам» радость. Кружатся, галдят, играют; с утра до вечера пир горой. Одни пишут доносы, другие вредные проекты сочиняют, третьи об оздоровлении ходатайствуют. Не хлеба нам надобно, а шпицрутенов! [1] вопиют. И все эти вопли ихние, полуграмотные, вонючие, к ретивому начальнику в кабинет ползут. А он читает и ничего не понимает: «Необходимо по началу в барабаны бить и от сна обывателей внезапно пробуждать»... почему? «Необходимо обывателей во всегдашнем изумлении содержать»... на какой предмет? «Необходимо вновь закрыть Америку»... но, кажется, сие от меня не зависит? Словом сказать, начитался и нанюхался по горло, а ни одной резолюции положить не мог.

Горе тому граду, в котором начальник без расчету резолюциями сыплет, но еще горше, когда начальник совсем никакой резолюции положить не может!

Снова он собрал «мерзавцев» и говорит им:

— Сказывайте, мерзавцы, в чем, по вашему мнению, настоящий вред состоит?

[1] **Шпицрутены** — длинные гибкие прутья или палки, которыми били наказываемых, проводя их «сквозь строй».

И ответили ему «мерзавцы» единогласно:

— Дотоле, по нашему мнению, *настоящего* вреда не получится, доколе наша программа вся, во всех частях, выполнена не будет. А программа наша вот какова. Чтобы мы, мерзавцы, говорили, а прочие чтобы молчали. Чтобы наши, мерзавцев, затеи и предложения принимались немедленно, а прочих желания чтобы оставлялись без рассмотрения. Чтоб нам, мерзавцам, жить было повадно, а прочим всем чтоб ни дна, ни покрышки не было. Чтобы нас, мерзавцев, содержали в холе и в неженье, а прочих всех — в кандалах. Чтобы нами, мерзавцами, сделанный вред за пользу считался, а прочими всеми если бы и польза была принесена, то таковая за вред бы считалась. Чтобы об нас, об мерзавцах, никто слова сказать не смел, а мы, мерзавцы, о ком вздумаем, что хотим, то и лаем! Вот коли всё это неукоснительно выполнится, тогда и вред настоящий получится.

Выслушал он эти мерзавцевы речи и хоть очень наглость ихняя ему не по нраву пришлась, однако видит, что люди на правой стезе стоят,— делать нечего, согласился.

— Ладно,— говорит,— принимаю вашу программу, господа мерзавцы. Думаю, что вред от нее будет изрядный, но достаточный ли, чтоб вверенный край от него процвел — это еще бабушка надвое сказала!

Распорядился мерзавцевы речи на досках написать и ко всеобщему сведению на площадях вывесить, а сам встал у окошка и ждет, что будет. Ждет месяц, ждет другой; видит: рыскают мерзавцы, сквернословят, грабят, друг дружку за горло рвут, а вверенный край никак-таки процвести не может! Мало того: обыватели до того в норы уползли, что и достать их оттуда нет средств. Живы ли, нет ли — голосу не подают.

Тогда он решился. Вышел из ворот и пошел прямиком. Шелшел и пришел в большой город, в котором вышнее начальство резиденцию имело.

Смотрит — и не верит глазам своим! Давно ли в этом самом городе «мерзавцы» на всех перекрестках программы выкрикивали, а «людишки» в норах хоронились — и вдруг теперь всё наоборот! Людишки, без задержки, по улицам ходят, а «мерзавцы» в норах попрятались!

Куда ни взглянет — везде благорастворение воздухов и изобилие плодов земных. Зайдет в трактир — «никогда, сударь, так бойко не торговали!» Заглянет в калашную — «никогда столько калачей не пекли!» Завернет в бакалейную лавку — «икры, сударь, наготовиться не можем! сколько привезут, столько сейчас и расхватают!»

— Что за причина? — спрашивает он у знакомых и незнакомых.— Какой такой *настоящий* вред вам учинен, от которого вы вдруг так ходко пошли?

— Не от вреда это,— отвечают ему,— а напротив. Новое на-

чальство у нас нынче; оно все вреды упразднило. От этого так у нас и хорошо.

Отправился ретивый начальник по начальству. Видит: дом, где начальник живет, новой краской выкрашен; швейцар — новый, курьеры — новые. А наконец, и сам начальник — с иголочки. От прежнего начальника вредом пахло, а от нового — пользою. Прежний начальник сопел, новый — соловьем щелкает. Улыбается, руку жмет, садиться просит, о благосостоянии вверенного края осведомляется. «Как у вас там... фабрики-заводы, пчеловодство, скотоводство... надеюсь?..» Ангел!

Делать нечего, стал он докладывать. И что дальше докладывает, то гаже выходит. Так, мол, и так, сколько ни делал вреда, а пользы ни на грош из того не вышло. Не может отдышаться вверенный край, да и шабаш.

— Повторите! — не понял новый начальник.

— Так и так. Никаким манером до *настоящего* вреда дойти не могу!

— Что такое вы говорите?

Оба разом встали и смотрят друг на друга. И вдруг новый начальник вспомнил, что он сам сколько раз в этом смысле для своего предместника циркуляры изготовлял.

— Ах, так вы вот об чем! — расхохотался он.— Но ведь мы уж эту манеру оставили! Нынче мы вреда не делаем, а только пользу. *Ибо невозможно в реку нечистоты валить и ожидать, что от сего вода в ней слаще будет.* Зарубите это себе на носу.

Воротился ретивый начальник во вверенный край, и с тех пор у него на носу две зарубки. Одна (старая) гласит: «Достигай пользы посредством вреда»; другая (новая): «Ежели хочешь пользу отечества сделать, то...» Остальное на носу не уместилось.

Но иногда он принимает одну зарубку за другую. Тогда выходит так: что ел, что кушал — всё едино.

СКАЗКИ ЩЕДРИНА

Когда впервые читаешь сказки Щедрина, они могут показаться какими-то странными, мудреными, уж очень замысловатыми.

Идет, скажем, речь о жизни пескаря. Весьма точно описываются беды, которые того и гляди настигнут эту маленькую рыбку:

«Рак может его клешней пополам перерезать, водяная блоха — в хребет впиться и до смерти замучить... А человек? — что́ это за ехидное создание такое! Каких каверз он ни выдумал, чтоб его, пескаря, напрасною смертью погублять! И невода́, и сети, и ве́рши, и норота́, и наконец... уду!»

Но о том же пескаре дальше сказано, будто он видит во сне, что выиграл двести тысяч рублей.

Ночует пескарь «то в иле, то под водяным лопухом, то в осоке», а поднимается со дна, «так как пить-есть всё-таки нужно, а жалованья он не получает и прислуги не держит».

Не правда ли, как тут странно спутана жизнь рыбы с жизнью человека?

Вот медведь. «Выгнали его в ту пору из берлоги и напустили стаю шавок — так и впились, собачьи дети, и в уши, и в загривок, и под хвост! Вот так уж подлинно он смерть в глаза видел! Однако всё-таки кой-как отбоярился: штук с десяток шавок перекалечил, а от остальных утёк».

Как будто настоящий медведь. Но на следующей странице мы читаем, что дети этого медведя в гимназии учатся.

Или вот верный Трезор. Сторожит он дом московского купца Воротилова. Воры напрасно стремятся проникнуть в дом. Они пытаются подкупить Трезора. Чем же они хотят его соблазнить?

«Сколько раз и воры сговаривались: поднесемте Трезорке альбом с видами Замоскворечья; но он и на это не польстился».

Нашли чем пса заинтересовать!

Но в том-то и дело, что пес в сказке Щедрина — это не просто пес. Это и пес, и человек в обличье пса. Щедрин показывает нам людей под видом

животных. Время от времени он как бы приподнимает звериные маски, и мы видим, чьи лица таятся под ними.

Животное здесь — иносказательный образ человека.

Никто не удивляется, встречая в сказке то, чего в жизни не бывает и быть не может. Всякий знает, что в сказках обычны чудесные приключения, волшебные превращения,— словом всё то, что называется **фантастикой**.

Но в сказках Щедрина фантастика странная, необычная. Она поражает тем, что чередуется с точным описанием реальных людских отношений определенной эпохи.

Возьмем сказку «Дикий помещик». В ней описаны отношения помещика и крестьян после отмены крепостного права. Крестьян «освободили» так, что ни лесу, ни водопоя, ни выгона — ничего им не дали; всё осталось за помещиком. «И земля, и вода, и воздух — всё его стало!» А помещик, пользуясь этим, штрафует крестьян да грабит — по закону, «по правилу». Совсем не стало жизни мужикам. И вот в один прекрасный день поднялся вихрь, пронеслась как бы черная туча — и все крестьяне из владений помещика исчезли. Остался помещик один, некому стало его кормить и обслуживать. Он одичал, оброс шерстью, стал ходить на четвереньках и вести жизнь лесного зверя.

Тут, в сущности, не фантастика, а иносказание. Щедрин хочет сказать, что крестьян при «освобождении» так ограбили, что они не могут существовать. А от обнищания и вымирания крестьян пострадают и сами «господа», которые нерасчетливо довели их до разорения и погибели.

Сказки Щедрина **иносказательны**,— и сатирик хочет, чтобы читатель это понимал. Для того и рассказ свой писатель ведет по-особому. Начнет, как заправский сказочник, да вдруг и огорошит таким словцом, какого ни от одного сказочника никогда не услышишь.

«Жил-был пескарь. И отец, и мать у него были умные; помаленьку да полегоньку аридовы веки в реке прожили, и ни в уху, ни к щуке в хайло не попали. И сыну то же заказали. «Смотри, сынок,— говорил старый пескарь, умирая: — коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба!»

После такого слова, как «жуировать», читатель уже понимает, что тут простачком-сказочником прикинулся едкий сатирик, чтобы под видом сказки говорить о делах совсем не сказочных.

Сам Щедрин свою манеру писать называл «езоповым языком», по имени древнего баснописца Эзопа. Этим названием Щедрин подчеркивал иносказательность своей сатиры, сближая ее с басней; басня ведь всегда иносказательна. Но Щедрин подчеркивал еще и то, что его иносказание **вынужденное**, что ему не дают прямо высказывать свои мысли и чувства. Эзоп ведь, по преданию, был рабом и принужден был говорить обиняками, чтобы прямою речью не разгневать своего господина. Недаром Щедрин называл свой стиль также «рабьей манерой», намекая на тяжелую зависимость писателя от царской цензуры.

С цензурой Щедрин вел упорную борьбу, добиваясь печатания своих произведений. «Езопов язык» в этой борьбе являлся сильнейшим оружием Щедрина.

Убедимся в этом на примере.

В сказке «Медведь на воеводстве» царь-лев, по рекомендации своего главного советника осла, посылает в лес бравых медведей, чтобы они усмиряли

мелкое зверьё, «лесных мужиков», посредством «злодейств» и «кровопролитиев». Но лесной народ этих наезжих медведей либо в грош не ставит, либо убивает: «Мало напакостишь — поднимут на смех; много напакостишь — на рогатину поднимут».

Писать что-нибудь подобное прямо о царе и его министрах, о крестьянских восстаниях и «усмирениях» было бы бесполезно: цензура не допустила бы написанного до печати. А то, что писалось «эзоповым языком»,— конечно, задерживалось, урезывалось, искажалось, но в конце концов, в том или ином виде, обычно всё же печаталось.

Однако «езопов язык» не только оборонял от цензуры, он придавал особую силу и меткость насмешке Щедрина.

Мы видели, как Щедрин царского советника изобразил в виде осла, а «воеводу» — в виде медведя. Этим он дал яркую оценку уму царских министров и такту «усмирителей».

Когда Щедрин хочет представить отношения начальников и народа в царской России, он изображает волков и зайцев или щук и мелкую рыбу. Волки едят зайцев, щуки едят карасей и пескарей; тем самым Щедрин показывает начальников злыми хищниками, безжалостными губителями народа.

Царь Александр III, в правление которого написаны основные сказки Щедрина, был малограмотен, резолюции на докладах своих министров он писал с ошибками. Щедрин жестоко издевается над незадачливым царем: «Хотя Осел, воспользовавшись первым же случаем, подвиги Топтыгина в лучшем виде расписал, но Лев не только не наградил его, но собственнолапно на Ословом докладе сбоку нацарапал: «не верю, штоп сей офицер храбр был; ибо это тот самый Таптыгин, который маво любимова Чижика снел!»

О царях полагалось говорить особым, «возвышенным» языком. Нельзя было просто сказать, что царь что-нибудь написал, а надо было сказать: «собственноручно начертал». Это выражение Щедрин и пародирует своим «собственнолапно нацарапал», чтобы читателю было ясно, что здесь имеется в виду.

Форма сказки вообще удобна для сатирика. Сатирик изображает жизнь не во всех ее проявлениях, подробностях и связях; он берет наиболее яркие черты действительности, сгущает их, показывает нам как бы под увеличительным стеклом. Для такого показа сказка дает большие возможности. В сказке каждое лицо сведено к немногим главным чертам, к основной своей сути. Представить человека в виде волка, лисы, щуки, осла, зайца — это значит выделить и подчеркнуть в нем жестокость, коварство, жадность, глупость или робость.

Вот перед нами сказка о двух генералах и мужике. Щедрин показывает в ней неумелость и никчемность господ, сметливость деятельного народа.

Для того чтобы ярче изобразить то и другое, Щедрин переносит двух генералов и «мужика» на необитаемый остров. Остров этот богат и рыбой, и птицей, и плодами, но бездарные, беспомощные генералы чуть с голоду не умерли посреди этого изобилия.

«— Кто бы мог думать, ваше превосходительство, что человеческая пища, в первоначальном виде, летает, плавает и на деревьях растет? — сказал один генерал.

— Да,— отвечал другой генерал: — признаться, и я до сих пор думал, что булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею подают».

Генералы избегли голодной смерти только найдя на острове «мужика». Он из собственных волос силки делал и дичь ловил, он в пригоршие суп им варил, он их в самодельной лодке через море-океан домой в Петербург привез...

Понятно, и невежество генералов и умелость мужика тут чрезвычайно преувеличены. В действительности не было, конечно, таких генералов, которые не знали бы, что булки из муки делают. Не было, разумеется, и «мужиков», которые могли бы в пригоршие суп варить. Это сказочные генералы и сказочный мужик. Но сказка давала Щедрину возможность запечатлеть основные качества всех классов тогдашнего общества, в особенности обрисовать пороки правящих классов с исключительной цельностью, яркостью и остротой.

В сказке о двух генералах Щедрин показал паразитизм господствующих классов, нещадно эксплуатирующих народ. Генералы сами ничего не умеют сделать, зато они хорошо умеют заставлять работать на себя «мужика». Но это удается им только вследствие забитости и приниженности народа. Обнаружив на острове мужика, генералы «накидываются» на него: «Сейчас марш работать!» И «громаднейший мужичина», которого на необитаемом острове никто не мог принудить, пугается «строгих генералов» и не только начинает, как каторжный, на них работать, но еще и веревку свивает, чтобы генералы могли на ночь привязывать его к дереву. Работает он не только за страх, но и за совесть; всё думает, «как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали и мужицким его трудом не гнушалися». В этой сказке Щедрин бичует не только «генералов», но и «мужика» за его покорность своим угнетателям.

Другой образ этой покорности Щедрин дает в сказке «Кисель». Господа ели-ели кисель, а потом уехали, оставив его свиньям. Свиньи быстро счавкали кисель, а теперь и господа и свиньи вопят: «Чем-то на будущее время сыты будем?»

Господа в этой сказке — помещики; свиньи — новые хозяева жизни, кулаки и буржуи; кисель — народ, который сперва обирали помещики, а потом и вовсе разорили кулаки.

Так вот этот кисель «был до того разымчив и мягок, что никакого неудобства не чувствовал оттого, что его ели». Даже еще радовался: «Стало быть, я хорош, коли господа меня любят!»

Однако это не значит, что Щедрин весь народ уподоблял мужику, ублажающему генералов, или киселю, который рад, что господа его едят. Щедрин показывал, как в народе растет ненависть к барам, мироедам и властям, всегда стоявшим на стороне обидчиков и врагов народа. Каменщик Федор, герой сказки «Путем-дорогою», не мирится с тем, что народ так задавлен. Он ясно видит, что правды нет там, где «рвут душу» простого человека. На издевательства властей он отвечает не робкими вздохами, а бурным негодованием. «Я ему кишки, псу несытому, выпущу!» Эту угрозу Федор, может быть, и не выполнит, но такие настроения предвещают и приближают восстание против бар, мироедов и господских прихвостней.

Кулаки и помещики эксплуатируют народ и его же презирают или даже ненавидят (сказка «Дикий помещик»). Интеллигенты часто восхищаются народом, много и умильно говорят о своей любви к нему, но суть дела от этих

разговоров не меняется: и их сытая жизнь обеспечена трудом голодного мужика. В сказке «Коняга» народ изображен в виде тощей крестьянской лошади, изнемогающей под бременем непосильного труда. Собрались посмотреть на работу Коняги его счастливые братья, бездельные и сытые Пустоплясы. В старое время в народе ходила пословица: «Рабочий конь на соломе, пустопляс — на овсе». Эта пословица, очевидно, внушила сатирику сюжет его сказки. Но созданный народом образ коня-пустопляса Щедрин использовал, чтобы показать фальшивость барского «народолюбия».

Все пустоплясы восхищаются конягой-народом, его трудолюбием, неутомимостью, жизненной силой. Либерал хвалил «здравый смысл» народа, который сказывается в покорности судьбе, в признании того, что «плетью обуха не перешибешь». Славянофил наделяет народ каким-то особенным религиозным духом. Больше всех захваливает «Конягу» народник. Народ, по его мнению, почерпает в своем труде «душевное равновесие», мир со своей совестью, «ту душевную ясность, которую мы, пустоплясы, утратили навсегда».

Но разногласия не мешают всем пустоплясам хором и дружно кричать на Конягу: «Н-но, каторжный, н-но!»

Глубоким пониманием сути эксплуататорского строя проникнута сказка «Соседи». В этой сказке народ предстает в образе Ивана Бедного. Весь век без отдыха трудится Иван Бедный, а из нищеты выбиться не может. Сосед же его Иван Богатый не трудится, а деньги к нему рекой текут. Иван Богатый уделяет Ивану Бедному крохи со своего стола и очень гордится своим состраданием и заботливостью. Он уверяет, что Иван Бедный заживет в довольстве, когда наступят новые порядки: всех сравняют в правах, для всех будет один суд, со всех будут брать налоги по одному правилу. Эти либеральные меры проводятся, но ничуть не улучшают жизни Ивана Бедного, не выручают его из нищеты. А местный «мудрец и философ» разъясняет обоим Иванам, «что в планту́ так значится», чтобы Иван Богатый, не работая, богател, а Иван Бедный, работая, одною тюрей питался. Таков «плант» (план), то есть основной принцип данного общественного строя. Помочь Ивану Бедному может только изменение этого «планта». Сказка кончается знаменательными словами: «И сколько вы промеж себя ни калякайте, сколько ни раскидывайте умом — ничего не выдумаете, покуда в оном планту́ так значится».

Почти все сказки Щедрина написаны в начале царствования Александра III. Это было время крутой реакции. Новое правительство старалось свести на нет даже куцые реформы предыдущего царствования, свирепо расправлялось с революционным движением и народными волнениями, боролось с прогрессивной печатью, с подлинной литературой, наукой, просвещением, всюду видя «крамольные идеи».

Эту дикую власть, воюющую со своим народом, Щедрин рисует в образе «медведя на воеводстве», в образе «ретивого начальника», который поставил себе целью «достигать пользы посредством вреда» и для этого «народное продовольствие — прекратил, народное здравие — упразднил, письмена́ — сжег и пепел по ветру развеял». Специально об отношении власти к «письменам», к культуре Щедрин говорит в сказке «Орел-меценат». В стране, задавленной произволом, может существовать только лживое подобие науки и искусства — такова мысль этой сказки. Впрочем, даже и фальшивое просвещение в конце

сказки уничтожается владыкой Орлом, которому полное невежество кажется привычнее и безопаснее.

Но Щедрин в своих сказках говорит не столько о правительстве, сколько об обществе.

В те годы многие интеллигенты, напуганные полицейским террором, спешили не только отойти от всякого общественного дела, но и забыть «вредные мысли». Растерявшийся интеллигент легко отказывался от былых увлечений, целиком уходил в личный быт, в заботы о своем обогащении, заполнял время пустыми развлечениями,— словом, превращался в «обывателя». Во многих произведениях 80-х годов Щедрин говорит об измельчании интеллигенции, об утрате больших идей, общих интересов, серьезного подхода к жизни, чувства гражданской ответственности.

Щедрин показывает былых «прогрессистов», еще недавно бойко проповедовавших либеральные идеи, а теперь перепуганных, дрожащих за свою шкуру, трусливо подпевающих реакции. Перед нами проходят либералы, готовые на любые уступки, согласные даже свои куцые идеи проводить «по возможности» и «применительно к подлости».

Либерала Щедрин рассматривает как разновидность основного «героя» этого времени — обывателя. Этот герой показан в сказках: «Здравомысленный заяц», «Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пескарь». Как видим, обыватель представлен в образе трусливого зайца либо в образе рыбы — животного с холодной кровью.

Щедрин издевается над покорностью обывателя, который старается в точности исполнять гнусные приказы властей и если чем недоволен, так только недостаточной законностью форм правительственного разбоя. Так, «здравомысленный заяц» желает ввести в законные формы взаимоотношения зайцев и волков. «Кабы вы чередо́м пришли: господа, мол, зайцы! не угодно ли на сегодняшнюю волчью трапезу столько-то десятков штук предоставить? — С удовольствием, господа волки! Эй, староста! гони очередных! — И шло бы у нас всё по закону, как следует».

Так же и «самоотверженный заяц» относится к волку не как к разбойнику, а как к законной власти. Этого зайца волк отпустил проститься с невестой, приняв вместо него в залог брата его невесты. Самоотверженный заяц спешит к назначенному часу выручать заложника, а в результате его честности и заложник и он сам — оба остаются в волчьих лапах.

Так же наивен «карась-идеалист». Это добрый и честный малый, мечтающий о том, «чтоб рыбы любили друг друга», «чтобы не я один, а все были бы счастливы». Но это беспочвенный утопист, оторванный от действительности. Он настолько не знает жизни, что сомневается в существовании щуки, а о том, что из рыб уху варят,— даже и не слыхал никогда. Он верит, что «справедливость восторжествует, сильные не будут теснить слабых, богатые — бедных», но к этому торжеству справедливости он видит только мирный путь «бескровного преуспеяния». Карась-идеалист надеется повлиять на разум и совесть щуки и убедить ее отказаться от рыбной пищи. Он принимает вызов щуки на «диспут», думая пронять ее призывами к справедливости и добродетели. А щука в ответ съедает его.

Смысл этой сказки прямо революционный. Пока люди будут думать, что

общего счастья можно достичь одними хорошими словами,— до той поры мир насилия и зла будет стоять незыблемо.

Самый типичный из щедринских сказочных обывателей — это «премудрый пескарь». В нем воплощена главная черта обывателя эпохи реакции — трусливое бегство от жизни.

Самоотверженный заяц полон горячих чувств: любви к невесте, жалости к ее брату, верности своему заячьему долгу. Карась-идеалист и здравомысленный заяц придумывают проекты рыбьего и заячьего счастья и чрезвычайно любят «умную свою канитель разводить». Но ум и сердце премудрого пескаря заняты лишь одним: как бы ему, пескарю, в уху не попасть или щуке в хайло́. Всю жизнь он провел в темной, тесной норе, выдолбленной в речном дне, и всё «дрожал», боялся высунуться, чтобы не достаться щуке, раку или человеку. Не женился, друзей не завел: «ни он к кому, ни к нему кто». Всю жизнь считал себя «премудрым», а когда подошла смерть,— увидел, что жизнь прожита бесцельно, бесплодно, бессмысленно.

В этой сказке Щедрин показывает, какой жалкой, «распостылой» становится жизнь, когда человеком руководит убогая «премудрость» труса.

Сказки Щедрина внушают нам глубокое презрение к трусости, подхалимству, лицемерию, они учат нас мужеству, стойкости, честному отношению к жизни.

Щедрин говорил в своих сказках о жизни прошлого века, но художественный смысл их гораздо шире. Образы сказок Щедрина приобрели такое же нарицательное значение, как, скажем, образы Хлестакова, Манилова, Иудушки Головлева.

В. И. Ленин, очень любивший и ценивший книги Щедрина, постоянно в своих речах и статьях цитировал его меткие фразы, употреблял его клички и прозвища, называл врагов революции именами смешных и жалких людей, созданных гением великого сатирика. Среди многих образов Щедрина мы находим у В. И. Ленина и героев щедринских сказок. Реакционеров-дворян Ленин называет «дикими помещиками», угнетенное крестьянство — «конягой», либералов и лжесоциалистов — «премудрыми пескарями».

М. Е. Салтыков-Щедрин писал: «Неизменным предметом моей литературной деятельности всегда был протест против произвола, двоедушия, лганья, хищничества, предательства, пустомыслия...».

Непревзойденному искусству обличения всего порочного, антинародного, реакционного учится у Щедрина и наша советская литература.

Б. Бухштаб

СОДЕРЖАНИЕ

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки.

Редактор *К. М. Нартов*
Технический редактор *М. Д. Козловская*
Корректор *А. Г. Нудлер*

* * *

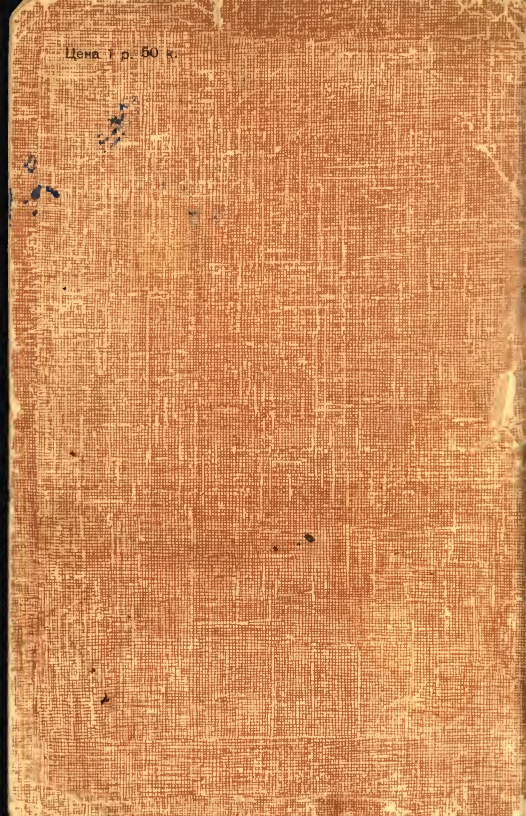
Сдано в набор 18/II 1958 г. Подписано к печати 9/IV 1958 г. $60 \times 92^{1}/_{16}$.
Печ. л. 6. Уч.-изд. л. 6,02. Тираж 500 тыс. экз.

* * *

Учпедгиз. Москва, Чистые пруды, 6.

Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Московского городского Совнархоза.
Москва, Ж-54, Валовая, 28. Заказ № 1515.

Цена без переплета 1 р. 50 к.


Цена 1 р. 50 к.